

Возьми свою половинку

Физроман, автопортрет
(Детям после 16-ти)



Автобиография Ларисы Володимировой. Строго любовная линия: писателем предпринята попытка понять, как цельность Наташи Ростовской извращается советской действительностью и эмиграцией. У автора из Нидерландов вышло собрание сочинений и два десятка книг на разных языках
<http://www.russianlife.nl/> .

Часть 1. Детство.

Глава 1.

Чтобы представить себя, незачем бежать к зеркалу. Разодета вызывающе модно, так как я же все это и шью из кружев и лент – как нанизываю слова. Но самое хлесткое, что у меня осталось, глаза, не по сезону скрыты за бронированными полицейскими очками от солнца. Чтоб не вычислили и не убрали.

Мания преследования?.. Ну откуда же. Нет. А вот прежде, в детстве и юности, категорически запрещалось задерживаться у зеркала, примерять китайские платица и барахло, привозимое любвеобильным папой из соцлагерных командировок, и уж конечно же – краситься кожно-венерологическим дефицитом из Турции и даже шепотом произносить слово «деньги». Вместо «чёрт» - в лучшем случае «шут». По стопам бабушек-фрейлин, чьи лайковые перчатки, не годящиеся и младенцу, и страусиные веера с захлопнутым эхом балов в Большом зале пылились на антресолях, подточены молью и испещрены мушиным пометом.

Во время тихого часа, на даче и дома, руки должны были быть вытянуты вдоль тела поверх простыни (почему-то с больничной печатью), и еще хорошо бы не перепугаться во сне, когда горбатая домработница Дуся или мама подкрадывались и сдергивали одеяло: заподозрив, проверить... Спасибо, что не заикаюсь. А кончилось все это плохо: безмужняя нянька стала класть меня

спать с собой, вместо тихого часа заставляя «пить молочко для здоровья» из коричневых, пупырчатых, как через линзу, сосков, а я и не знала, как объяснить маме, смутно догадываясь, что это как-то неловко. С тех пор помню тягучий вкус живых отправлений – в ресторане за мокрым бифштексом, порезавшись или целуясь. У всего долгий отзвук.

В остальное время мы с карлицей Дуськой дрались на телефонных трубках с волочащимися шнурами, носясь по квартире... Наконец я разго-ворилась, и няньку безжалостно выгнали к ночи в дантовскую грозу. Мной оставленный шрам на ее морщинистой щеке извивался и через полгода, когда она пришла за расчетом, искусственно улыбаясь. Недаром с детского сада меня дразнили «пантерой»: там учили обороняться.

В том же двореком в приюте воспитатели крест-накрест заклеивали нам болталки за перешептыванье в тихий час: обрывок рулонной ленты для оконных щелей намазывали канцелярским клеем и зашлепывали на губах (вот истоки клаустрофобии). Всегда наготове держались иголка и нитка, точнее, бечевка: рты угрожали зашить.

А рукоусйство предупредили научно. Регулярно мальков проверяли врачи, восседавшие перед нами на стульях, расставив ноги в байковых штанах с начесом под раскинутыми полами халатов, и когда дрожащий «следующий» приближался, высовывая язык перед шпателем, то ему говорили с угрозой:

- А сейчас проверим зрачки! Кто сует руки в ..., тот ослепнет. По глазам видно все!

Особенно трусили честные. Никогда не вспоминаю о прошлом. Оно по-своему было волшебным: другого не выпало. Но если сейчас я не напишу эту мерцающую, изначально призрачную книгу, населенную мертвецами, то мне тут долго не выдержать. А я пытаюсь дожить, по инерции «правильно». Лишить Верочку извращенного опыта, – то есть его отсутствия за неимением жизни. Сосредоточиться только на личном, не лгать, – выбраться из лабиринта. Стихи статичны и вечны. А фабула и движение требуют прозы и темпа.

Наконец что-то, кажется, прояснилось, как болото после дождя при вышедшем поехидничать солнышке: все равно из трясины не выбраться. Но подслеповато томится намек над восходящим туманом: и что важен не результат, а процесс; и что природой мы призваны эмпирически ошибаться, лбом отбивая ступеньки и задерживаясь на каждой. Точней – нужно мордой проехать по скользкой глине в осоке; и что святость не приобретается на пустом месте в любезном нам омуте, а – по Достоевскому – лишь извозившись по горло, напредававшись, уразумев, как букашка, и напоследок раскаявшись, можно надеяться не освятиться, но хоть омыться зеленой кровью перед прощаньем. А кому – воспарить, если крылья не тают в лучах. Коли явится цель. И что, на английский манер, нет врагов – значит, нет и друзей (вообще-то умоют без нас – чтобы тут же дружно запачкать).

Ничего этого я не подозревала в начале, перед альбомным настом Павловска, по которому игриво скрипели полозья финских саней или натертые смазкой (по предсказанной по радио температуре с атмосферным давлением) лыжи. Снег искрился и затихал строгой минутой молчания, намекая на

вечность в мартовской теневой синьке: пошло, но верно. На предельно набранной скорости обрывалась собачья шлейка, и по инерции еще мчавший меня эрдельтерьер Нэд, единственный друг моего детства и носитель девичьих секретов, ускользал за собачьей свадьбой и проваливался подтемна.

Срывая голос, с милицией находили его на тех шести сотках парковых га по истошному лаю и багровым следам, где опавшая, поджавшая зализанный хвост местная сучка недворцовой породы из последних сил огрызалась на свору покусанных псов. А позади, готовый шарахнуть в сторону и, под лучом фонаря, косясь на весь свет, наедался впрок обмоченным снегом мой транспорт и друг. Так и окрашивает он расслоившимися от клыков и ножниц ушами 70-е годы растаявшего тысячелетия и свежей струей отмечает ту территорию, на которую «въезд запрещен». – Теперь я и есть эта сучка.

«Так много пишу о себе только потому, что это предмет, о котором я лучше всего осведомлен» (кажется, Сэмюэль Батлер). Чего ж тут лукавить: созерцать себя в зеркале тошно, но пристальное отражение спасло бы, надеюсь, кого-то другого. А динамику диссоциирующих, как в настраиваемом оркестре, событий пробегу скороговоркой, замалчивая сокровенное или пустое, но ничего не придумав. Куда до фантазии судеб!

Жила-была, говорили, пульсирующая от радости и разбрызгивавшая, как фонтан, на окружающих счастье открытая девочка в разведенной семье совслужащих. Страшилась помыслить о грязном – в полной уверенности, что мама слышит и видит насквозь. Мог «все знать» и кудрявый Володя Ульянов, чей портрет заменял икону в красном классном углу. Других критериев не было. Когда случалось совсем одиноко и жутко дома без мамы, то обращалась я к Ленину. А заподозрив сомнительный призрак (смущающий признак) во сне, всегда перед мамой винилась. Что у трезвого на уме... Так что даже слабая скрытная рябь не тревожила мысли.

Будучи акселераткой с нагулянными на фигурном катании и исполкомовском пайке наивными грешками, мне-то казавшимися непростительными и чудовищными, к десяти годам я выглядела на семнадцать. От того, что становится жизнью, – отрезана суетой, обязательными для всех нас «драмкружками» и школой. Все добывалось из книжек. Ежедневно влюблялась «до потери сознания», но твердила внушенные аксиомы: не дай поцелуя без любви – а если полюбишь «по-настоящему», то будь с ним до гроба. Вот я его и ждала. И как раз до могилы.

В привилегированной (блатной) школе, настоящей на Наташе Ростовской и патриотизме, училась, конечно, из рук вон. Зато полными собраниями сочинений – кроме писем: как неэтично! – была досрочно прочитана классика, посещаемы обязательные залы абонементной филармонии, где даже гардеробщик «передавался» от предков, ну и БДТ стал родным при царившем там Товстоногове. В цене был только Талант. Занимали он – и мальчишки: ужимки их да прыжки, косые взгляды, вскользь брошенные словечки. За косички не дергали: уважали, дрались на равных. А над секретером между тем развешался плакат с выведенными каракулями «Все мальчишки подлецы». Ошибки в нем выверялись по словарю Ушакова, читаемому от и до, как форматный «Блокнот агитатора» в клозете, и для рифм, на будущее,

конспектируемо... (По граниту и с галькой в линиявших зубах – «колокол молоко лакал *волоком*». Если б знала тогда, то добавила о Ходорковском, упиравшемся воспиталке в детском саду: «...но только если вы меня будете *волочь*». История темная, а характер вроде похож: таких не сгибают, ломают).

На «Камчатке» за моей же партой у окна сидела девочка из не расстрелянной интеллигентской семьи; на переменках играли с ней на рояле в четыре руки в кружевных, перед нулевым уроком наспех пришитых манжетах. В тринадцать лет Танечка, опершись на кулачок в цыпках и закусив косу с капроновым коричневым бантом, мечтательно произнесла:

- Самое главное, чего я хочу, – выйти замуж.

Крамрала сбывалась через год, скандал на уровне города: Танечка родила и поехала регистрировать брак на Украину, где это было возможно... Ей уже поднадоело заправлять себе в дырочки градусник с рыбьей ртутью и играть «в доктора» под столешницей у подруг, где под скатертью до полу возводился то дворец, то шалаш, а родители отвлекались на кухне. Кстати, я так и не знаю, не делали ли те градусники и грифельные карандаши из девочек женщин, так как никто не рассказывал малолеткам, до какой степени тупой боли можно все это заталкивать, а про понятие целки (поразительно, я и сегодня не в курсе насчет латинского термина) никто из нас и не слышал («Кто сказал мяу? И кто произнес слово «деньги»?»).

Еще одна тема на протяжении школы запрещалась дома поголовно у всех: секс, неведомая эротика (но не любовь, платоническая априори, ограничивавшаяся «черемухой» и преподанным нам Тургеневым). Вера в мамину непогрешимость была столь безусловна, что в мелкотравчатом, но уже сознательном возрасте я доказывала дворовой шпане:

- Дети рождаются из отверстия справа вверху живота, где аппендикс, его еще просто не видно. А про мужчину и женщину – это всё ваши сказки. Моя мама не жлет никогда!

Вот это был аргумент. Отдаю должное: про аиста мне не ввали. До сих пор не пойму, как можно было в СССР преподавать пять лет в вузах иностранные языки (и Катилину с весталкой, кстати) так, что мы свободно читали тома, но не произносили ни фразы. Как удавалось протаскивать нас по музеям, задуривая Лаокооном и в результате имея то, что случилось с той смеющейся питерской девочкой... Хорошо было тем, у кого «шнурки в стакане» (родители дома) – врачи, а на верхней недосыгаемой полке – медицинская энциклопедия в картинках или многотомная «Тысяча и одна ночь», скрасившая любознательным куда больше и дней, и ночей. На худой конец (выражение не расшифровывалось, и в ходу было слово «кончать» без ненужных привязок) можно было штудировать по телефону с подружкой, прислушиваясь и озираясь на дверь, «Тихий Дон» с описанием пятен на порванном платье. Мужской атакующий член, уже взрослая, я впервые узрела на близком родственнике, вышедшем из сортира; а про то, что растительность у мужчины случается не на одной голове, эмпирически выяснила к концу школы, придя в шок от этих последних известий.

Младенчество, растекаясь на годы, никуда не девалось, но весь шестой класс за мной носили ранец два друга, ничем-то меня не привлечших. С тех

пор главной задачей было отбиться от хвоста поклонников, а не наоборот, и я начинала тревожиться лишь тогда, когда внешнее обожание иссякало: вот единственный повод подвести себя к зеркалу. Не выбилась, мало ли, прядка, и уж не заболела ли... Не будучи красоткой, в любой медвежьей шубе или половой тряпке я выглядела сексуально и притягивала магнитом, и усвоила семейную притчу о бабушке, которой можно было в юности надеть на голову сетку-авоську, что фасада не портило.

Одного из тех двух друзей, блондина Володю (Вова – противно, по-детски: мы же читали о рыцарях) я сама познакомила, чтоб скорей отвязался, со своей блистательной одноклассницей с украинской косой. Как только поклонник переметнулся во вражеский лагерь, я его «разглядела» и влюбилась без памяти, пропав года на три. Для того и писала стихи: когда их печатали в пионерской газете, то я, уже прочная двоечница-хулиганка, на весь день становилась в школе звездой, и Володя мне улыбался из уважения к славе... Невзаимный детский роман принес первую боль. Это было настолько серьезно, что тогда же дала себе слово: запомнить силу и искренность горя, а вырасту – никогда над ним не потешаться. И слово сдержала: тогда все было по-настоящему.

Шоколадное мороженое растаяло и запахло грязной тряпкой. Впрочем, я могу передать все те ощущения – но время еще не пришло. Отделяя зерна от плевел, - как перед дождем, заставляю себя заглянуть в чашку с остывшим чаем, чтоб не глотнуть с залетевшей туда дохлой мошкой...

К четырнадцати годам в нашем классе нецелованных уже никого не осталось – кроме меня. Красотки-нимфетки берегли во мне чистоту: тогда нами все обсуждалось. Копился горький багаж. Ранний уход, навсегда, из дому отца, обожяемого больше мамы. В каждом классе и пионерлагерном отряде из тридцати детей двадцать жили в неполной семье, преодолевая трагедии, комплексы. Еще – Нэда отвязали у магазина и увели вымогатели, а мы расклеивали объявления и дней десять не знали, жив ли мой четвероногий, и по ночам я металась от невыносимых картинок: вот он, постельный, шурует еду по помойкам, а вот выбрался из-под колес... Эти драмы шли наравне, не знаю, что выделить.

Принуждаю себя сконцентрироваться лишь на том, что вело во взрослую женскую жизнь, сформировало характер и разменяло любовь. Внешне все было наполнено расписанным бытом и лилось через край: бурлящие дни мельтешили, сливаясь в один. На ночь глядя, в постели, невозможно было припомнить, что творилось с утра – уроки, спектакли, танец с обручем, акварель, Гедике (неоднократно я подпиливала и пыталась поджечь «Красный октябрь», он слабо дымил)... Деткоры-юнкоры, мамини театрально-интеллектуальные гости и вопросы с пристрастием соседа (о котором со смыслом шепталось, что не женат) – теперь всемирно известного Кона. Уличный хаос и вмененный мне выгул эрделя, – то вселенское одиночество на фоне праздничных декораций, что прорывалось сквозь шторы во время парадов, а потом – выходных, когда прочие семьи садились за круглый крахмальный стол под оранжевым абажуром, а мне оставалось ждать принца под алыми парусами и выть на луну. С тех пор праздники я ненавижу, а воскресений боюсь.

В те же четырнадцать к нам повадились ныть бесконечные мамочки, вместо своих сыновей. Поначалу держались педагогично и сдержанно, но неизменно срывались на фальцет, поняв, что меня не пробить ни подарком, ни лестью, ни мальчишеским: внутренний стержень окреп, а вместе с ним – убеждение, что даже если ты влюблена и тайно елозишь, как шарик на елочной ветке, это еще не любовь, и клещами не вырвут согласия. Волновались мамы не зря: все чаще я находила в почтовом ящике или под дверью окровавленные ржавые лезвия «Нева» в спичечных коробках, а в мороз и пургу на крыше соседнего дома ночевали поклонники – шестнадцативосьмнадцатилетние прогульщики уроков, лекций и конвейера ПТУ. Они часто пугали меня пистолетом – купленным, может быть, в «Детском мире» напротив, но хуже было на даче, где всерьез пользовались самострелом, а бинты приносили к крыльцу.

Очень часто какой-нибудь третий приятель названивал из автомата спасительным гривенником вместо двушки, умоляя приехать в общагу, так как верный мне (и за то презираемый) маньяк наглотался таблеток или вскрыл себе вены – и все оно так и было. Я лавировала среди ухажеров, ничем их не прिवечая и заслуживая внимание разве что внешне: я хотела быть только поэтом, различала других – по стихам, а шипевшее изнутри сладострастное пламя, вытрезвляемое учебой и березовой кашей, относила к своим же грехам и к слабости силы воли, над которой мне «нужно расти». Все мы, сверстники, прошивали на спор руки иголкой и резались бритвой, гасили о тело окурки и заставляли себя дарить товарищам именно то (кроме чести, понятно), с чем трудней всего было расстаться, и отказывали себе же в самом заветном – навскидку, в пирожном «эклер» или «картошка» из «Норда», у кого как. Из того звукоряда – кое-кто пробовал, каково это спать на гвоздях, так как были Рахметов, а потом и Островский, и мы «сталь закаляли» на них. Впрочем, помню еще и Мересьева, но так далеко я не ползала.

В литкружок пришел Игорь – вороного крыла и румяный, полноватый от мускулов и лоснящийся от самомнения, хотя девки действительно падали. С этим Игорем-первым наклеивался роман: я уже распечатала в коробках его бритвы с запекшейся кровью, разорвала и разметала по ветру облако писем и посвященных стихов (с километр летело, азартно: я подгадала под ветер). Мы уже удирали на лыжах в поход под гитару и Киплинга, познакомились с очередной мамулей – по проторенной выше слепящей дорожке. Игорь был гормонально настойчив и успел спустить с лестницы моего начальника-папочку за неожиданный визит, не ко времени, – но какая-то грязь в отношениях мне не давала покоя и продвижения: поцелуй без любви. Все мои посетители облюбовали косяк и висли там вместо двери: гасили восстание плоти.

Что вконец отрезвило – так это когда борец-Игорь показывал мне запрещенный прием, перебросив через бедро и вонзив башкою в паркет, и я потеряла сознание, но, очнувшись – пока мама бегала вызывать «скорую» из автомата – я застала Игоря, уже снявшего с меня лифчик... Как-то было все не по-товарищески.

Не хотела впускать его в книгу; но затем он привел одноклассника – своего лучшего дружка, Игоря-два. Они важно намекали на то, что уже познали запретное, переспав с пьяной старухой и завернув ей на голову юбку, чтобы не видеть морщин. От хвастовства оба плавились – Пат с Паташонком, пан – или пропал...

Так возник Игорь-второй, тонкогубый высокий блондин прибалтийского типа, никогда не писавший стихов, да и вряд ли читавший хотя бы по школьной программе. До сих пор, заслышав в транспорте запах его дешевых папирос, я ведусь, как собачка. Мы целовались через огромные, праздничные воздушные шарики. Для меня поцелуй этот – первый, я и сейчас ощущаю мальчишески мягкие губы со злинкой, пушистые щеки сублимирующего подростка и позже узнанный вес его нежного сквозь брюки тела. Мы так и не были вместе, о чем я жалею всю жизнь, – но урывками согревали дыханием руки друг дружке у дерматиновых питерских коммуналок, оттаивали и обжигались у гармошек-батарей, выкрашенных темной зловещей зеленкой, и на свидание к нашим речным, теперь литым, скамейкам в ближайшем сквере приходит он до сих пор, присылая мне фотоснимки. Впрочем, как и Игорь первый. Но невосстанавливаемая судьба оборвалась для нас троих еще в том столетье и в той брошенной мной стране.

- Меня завтра вызывают к директору.

- И нас исключают!.. Вместе с первым переводят в рабочую школу, в одиннадцатый класс. Твоя биссектриса стукнула орангутангу, что мы всю зиму просидели на крыше под окнами вашего класса.

- Но ведь мы с тобой муж и жена?

- Ну! И у нас будет восемнадцать детей, потому что я тебя буду считать восемнадцатой. Как у твоего предка, женившегося на крепостной, вон на той фотографии. Я тебя никому не отдам.

На другой день на бордовой ковровой дорожке, уставившись в ее ровные изумрудные поля, я отчитывалась перед директрисой. Исключить меня ей было трудно. Из соседнего кабинета я единственная, краснея, на переменках названивала мамочке на службу – мол, ничего не случилось, а то бы она давно сошла с ума на своих «трупах» и ночных выездах на происшествия: моя мамуля служила в Главке экспертом-криминалистом, отец – боссом в горисполкоме, а покойный дед вообще был хозяином всего нашего огромного района, о чем еще не забыли. Но меня, восьмиклашку в коричневой униформе и прикнопленном черном переднике, педагоги загнали в тупик, и я начала огрызаться, охраняя себя и возлюбленного. Через час оправданий, одурев от унижений и держа в уме папин ремень, еще недавно привечавший меня по субботам, я пошла ва-банк – возможно, не точно выразившись перед биссектрисой:

- Вера Ивановна, у нас будет ребенок! Восемнадцать детей.

Вскоре как-то все это забылось. Игорям дали по задам и волчьим билетам и направили на переучку; повисла над ними и армия. Игорь первый пошел на реванш, когда второго я уже окучила и окультурила, долбя прицельно и нудно, а добившись успеха, потеряла к нему интерес. Это стало уроком: отныне я знала, что подгонять под себя человека в моем случае просто

бессмысленно. На разрыв повлияло и вот что. Моя подневольная мама, военнообязанная, нередко дежурила сутками. Игорь второй задержался уже на полночи, мы целомудренно целовались в одежде, используя сей миг немыслимо острой близости, как вдруг позвонила мама и сообщила, что она рядом, заскочит сейчас на попутке.

Я выталкивала любимого, заправляя в пальто туда не попадавшую руку, и нам удалось скрыть следы: этому я училась у профессионала, мать была в городе самым толковым экспертом. А наутро Игорь рассказывал, что транспорта ночью не было, подвезла его... вытрезвилочка. Презируемые газики-синеглазки хромали по колдобинам города, подбирая пьянчужек (население целой страны), и нормальному человеку, как сейчас говорят, запахло самому было тормознуть такую ментовку. Но он не был брезглив. Казалось бы, мелочь, – но тогда поцелуй, первый в жизни, вмещал в себя всю доступную миру и глубину, и порнуху, а нашептанное междометие заменяло сплошной диалог. Точка – тире.

А еще мне попалась записка. Мы ведь все тогда переписывались, опуская в почтовую скважину от руки испещренные тетрадки: четырнадцать листов бисером в день – это было ничто. Мы умудрялись эпистолярно общаться на сорока восьми, тренируя чистописание, а то и на девяноста шести: как раз кончатся шесть-семь уроков. Время текло по-другому. Я могу его вызвать, как дух, теперь только... бездельем. Тогда нужно неделю валяться, попивая малиновый чай, а то и мучая себя ностальгией – молоком с медом и содой. Еще способ – замотать горло компрессом, имитируя бред и ангину.

Но я не хочу возвращаться и повторять. Слава богу, что все это в прошлом! Может быть, я тогда не прочту и случайной записки, в которой Игоря на меня спорили. Орел или решка. Кто из них меня первый получит? На первый-второй рассчитайся.

Глава 2.

Сюзанка была как барометр. Ее глаза светились совершеннейшим счастьем, широченные плоские бедра при узюсенькой талии глядели надменно и мощно, а отсутствие, даже некий провал положенной быть груди приковывал мужиков намертво. И все чаще на Сюзанку западали учителя, о чем она ехидно рассказывала. У нее я заимствовала на всю жизнь оптимизм. Потому что чем безудержней бушевали, пили и били этой ночью ее родители, тем сильнее становилась подруга.

- А тебе-то хоть не наливают?..

- Да какое! Набухают с вечера, потом дерутся полночи, фраера вот снова у матери... Так я привыкла.

Я прослеживала за ее синим в искорках взглядом и радовалась: Сюзии с пути не собьешь.

- А тебя почему на занятиях не было?..

- Я... Меня... Я ж врать не умею. А мне мать не поверила. Представляешь? Я сказала ей правду, а она мне влепила пощечину. У меня осталась упаковка димедрола – еще после сотряса. Ну я ее всю и съела. Проспала двое суток.

Мы понимали друг друга, ведя очень разные жизни. Сюзи стерла мне с губ остатки перламутровой помады, тогда немислимо в школе, в кружке и тем более дома. Посмотрела внимательно:

- Давай, подруга. Колись!

Я заранее покраснела:

- Ты же знаешь, что я не целуюсь. Да ну тебя, дура. А что мне тогда было делать?!

Накануне я обувалась, и Нэдка, уже в ошейнике, предвкушая радость прогулки и надежду смыться по сучкам, буйно скакал вокруг меня, словно юный баран, и со всей силы поддал под опущенный подбородок. А я прикусила губу. Вот теперь-то торчала и я, как все, перед зеркалом... Там на полочке хранились мамины тюбики, и я вовремя сообразила притвориться непослушной да маленькой: пусть меня накажут за это. Какая бы мама поверила, что я вообще не целуюсь и что у меня не засос (это бранное слово в приличном обществе не произносилось и шепотом; тогда еще у богемы не было в моде, а-я-яй, материться)? А моей-то, блокаднице и однолюбу, сутки занятой на работе, трудно было держать в послушании хулиганку, которая, во избежание просветительских отцовских побоев (меня дома любили), вела параллельно два школьных дневника: один – на подпись не сильно ханжившим родителям, другой, с их подделанными закорючками – на растерзание и измывательство нашим злым, нищим духом и телом учителям.

Незадолго до всех новых ужасов мать, дождавшись сумерек, позвала меня в кухню и зажгла газовую горелку. Предстоял разговор. Вела она себя странно, как собака Павлова дергаясь, но строго следуя Дарвину... Обозначилась тема предмета: впервые в жизни мама рискнула открыть мне священную тайну, как случается Это. Ждала я часа полтора. За то тягучее время моей родительнице удалось с конфузом перескочить с тычинок и пестиков и подобраться к насекомым весьма усредненных размеров... Но утром меня ждала школа. Несобранный ранец, нескладанные уроки. Политинформация. Взбучка. Я пожалела маму и ей сообщила, что ни аистов, ни капусты, как известно нам, нет, а собачьи свадьбы я видела. И особенно больно, когда спутываются хвостами. Мы на том порешили, с тех пор – уже навсегда.

Игорь второй пришел по весне, чтобы дать мне по физиономии. Он к этому долго готовился. Но так, он считал, было *надо*. Издевалась я над обоими, а ему выносила и оставляла под дверью на коврике миску с кислой горбушкой – не из сочувствия, а токмо от воспитания, понимая, что он круглосуточно проживает на лестничной клетке. Затем, в отместку, его бил мой кузен – и тоже за дело. А в моей феерической жизни – с тех пор так никто и ни разу. И это неправильно.

Тут я вспомнила милицейский пионерлагерь. Весь отряд или класс обычно влюбляется в одну и ту же девочку. В тот год это выпало мне, незавидная роль. Разъяренные сверстницы, устроив темную, не давали всю смену

проходу. Вы же видели, как разъяренные телки дерутся за парня?.. Я занималась по протекции УВД в секции самбо, одна – и сорок ребят. Что постарше – за мной приударил. Эти приемы впоследствии трижды спасали жизнь, не только мою. Дралась я отменно (во мне было хоть что-то хорошее) и по характеру от мальчишек отличаться стала не скоро. Приятельствовала только с ними, кроме двух-трех таких же – мы не знали, как правильно: синий чулок или белая ворона? – как я. Часто в крысиных подъездах подбирала обмочившихся, оравших советские песни, матерившихся алкашей и тащила их на закорках по зимним фатерам: было жалко, что подберут менты – избыют, оштрафуют, разденут. Сообщат на работу, в партком.

А на нашей лестнице я могла ничего не бояться. Все соседи, когда лифт ломался, на цыпочках обходили абонированных ступеньки и распивавших там ерш – пиво с водкой – молодых хулиганов (пока их не пересажали). Но при моем появлении этот десяток-другой прекращал пошлый смех и ругательства, приподнимал котелки и приветствовал. Означало это одно: их главарь (я от ужаса никого вокруг не различала) спустил им такую команду. Я всегда была в мини, и от гордой паники, шествуя на каблучках, задевала их лица «небрежно» вращавшейся сумочкой. В прочих коллизиях – не помню, чтоб я спекулировала женской силой, всегда была выше. Не пользовалась возможностями, никогда не жила за их счет. Но тут хвастаться нечем.

Проходил отрядный заплыв на шумном, огороженном сеткой заливе, а я поднырнула под пробки и удалилась от берега. Когда поняла, то оказалась отрезана парнем от «лягушатника», кричи – не кричи. В воде удары смягчаются, и я боролась всерьез, чтоб хотя бы остаться в купальнике... Всё это видели с берега. Моего незадачливого ухажера в тот день изувечили так, что когда через неделю он выписался из санчасти и был сдан на руки срочно вызванной маме, то сквозь модную футболку в сеточку просвечивал и переливался сплошной грозовой синяк... А девчонки, кстати, потом дружно полюбили меня и зауважали, как у них это часто бывает. Мы вместе рыдали в тоске по родителям, под диктовку записывали впервые услышанные мной воровские страдания вроде «Я мать свою зарезал, Отца я зарубил, Сестронку-гимназистку В уборной утапил», альбомные стишки запредельного уровня глупости, а после отбоя рассказывали страшилки, пугая новеньких до смерти, и тут мне не было равных. Мы хихикали над пацанвой, по-армейски на скорость под утренний горн заправляли постели с железной, провисшей от прыганья сеткой. На кровати, как в тюрьмах, запрещалось садиться в светлое время суток и придвигать их друг к другу.

Где все те, с кем, стреканув вслепую от страха перочинным ножом по ладону, клялись кровью в дружбе? И как же их все-таки звали?..

Понятно, грешков было больше. Но ведь не было веры. Еще лет пять назад моя мама купила баночку «табакса», пытаясь бросить курить. Я облизывалась на таблетки, глотая пустую слюну. Не могла ж я сказать своей матери, что сама к тому времени откурила целых три года, причем затяжками – план, и что аж с шести разбираюсь не только в мазутных сортах тростника на Финском заливе. Самокрутки мы профессионально катали из розовой промокашки от школьных тетрадок. Я попала на даче при няньке в плохую

компанию (если может быть хуже Дуськи). Но мне тогда повезло. И потом всю жизнь, как только к моему холодному носу приближали чье-то дерьмо, то невидимый стержень – должно быть, генетика – никогда не давал извозиться. Судьба вела восвояси. Ничем другим не могу объяснить невероятный тот факт, что я не спилась и не скурвилась.

С Дуськой связан один эпизод – среди тысяч других... Часто на даче в Зеленогорске мне приходилось укрываться от ее побоев весь день. Мы гуляли командой, на двадцать копеек бесцельно смотрели «Неуловимых мстителей» вместе с мороженым (я ностальгически не пропускаю этот фильм и сейчас), гоняли на «Орленке» и «Школьнике»... Как-то взрослый дядька на велике затравил меня, девятилетку, в канаву. Котлован был глубоким, и я снизила скорость, испугавшись барьера на взлете, а должна была увеличить. Я упала на консервную банку от килек и раскроила ляжку до кости. На операционном столе врачиха положила поближе к моей зарезанной физии (боялась я няньки, не вернувшись на дачу к обеду) солдатский ремень со звездой на начищенной пряжке:

- Обернешься – приблю!

Ничего сексуального нет, но таковы дикие римские нравы. Нянька дозволилась родителям:

- Ляля в больнице, я без ног, приезжайте! – И повесила трубку. С ногами, но без головы.

...Между тем, на внеклассном собрании, когда остались одни девочки, училка нам тихо сказала, что одна из нас сделала аборт. Понятно, слово было другое, но смысл нас обрушил. Я утратила сон: как же рядом со мной столько месяцев страдала моя же подружка?! И что она должна была пережить – этот ужас решения, наверняка вынужденного, страх огласки? Домашний, а потом и больничный позор, мысли о самоубийстве, а затем – об убийстве ребенка! Мне нет прощения. Мы, эгоисты, были заняты только собой, никто не протянул ей руки, не дал совета, не вытер девочке слезы.

Мы еще долго гадали, каждая про себя, кто была однокласска. Лишь через пару лет, к выпускному, я узнала, что, с подачи биссектрисы, той девочкой была я.

И еще два греха непомерных. Мама дежурила, и со мной оставили ночевать соседскую девочку Катю. Мы гонялись друг за дружкой с подушками, не зная, как в Это играют. Катя была «гопником», она светилась на подоконнике пятого этажа в ореоле луны и размахивала простыней: хулиган пришел освободить меня и унести на руках в неизвестность. С тех пор навсегда у меня выработался идеал одаренного словом братка, то есть авторитета, а заодно и единоразовое подобие опыта – ощущение себя под девчонкой, хохочущей (потому что нас ужасно все Это смешило) громче меня.

Через несколько дней я стоя переодевалась. Систематически насиловавший (так как был меня поумней) висевшие в коридоре пальто, Нэд подлез носом сзади, задрал башку, и я ощутила сладчайший ожог прежде, чем с размаху огрела мерзкого пса поводком и намордником. Больше первое не повторялось, навсегда оставшись сигналом мощнейшей эротики, от которой я давно и всерьез уже мучилась. И никого не нашлось объяснить, что Это

адское жжение с потерей сознания – норма, а не то, что импотенты в глухой защите потом называли бешенством матки, психозом.

В одном романе персонаж считал «открытой» всякую женщину. Подбери только ключик. Как арестант за семью печатями, я могу подтвердить. Имена и даты невстреч уже начали повторяться. Один из Володь, перманентно резавший руки (перебитые прежде и не давшие стать музыкантом) и подетски мне не симпатичный, хотя он талантливо писал даже иконы, должен был уйти в армию. Задыхаясь в майском метро, я сломя голову бежала по платформе проститься, почему-то в парадной пионерской форме – синей короткой юбке и белой рубашке с погонами – и в скаутском галстуке, привезенном мной из Германии (поездкой меня наградили, как лучшего деткора, вместо голубой мечты – «Артека», и я еще месяц рыдала; но такие путевки распределялись совсем по другим принципам и приоритетам). Володю все очень любили, провожала его не только полузаконная невеста, но и однокурсницы, среди которых была я птенцом, убежденным в гадком утячестве. Учила себя прямохождению, а заодно и дышать в толпе, в транспорте, – возникали всё новые комплексы. Мне казалось, я лгу: уж очень боялась споткнуться («согрешить» в обиходе не значилось).

Под звуки гитары, нестройно плачущего хора и прокатных барабанов из Ленинской комнаты, уже стриженный и обреченный Володя озирался на меня над толпой и сдерживал слезы. Я дала ему слово два года писать ежедневно открытки. Подумала – и добавила слово себе: до возвращения Владимира ни с кем целоваться не буду. Из вредности. В тисках ужесточившегося мужского внимания мне хотелось себя не растратить – до настоящего чувства. А ведь слово до сих пор держала я крепко.

Сразу после Германии ко мне зашел Игорь первый. Обронил, что достал пистолет. Настоящий. Это в принципе было возможно: все мое детство и у нас за щитком, где хранились квитанции по оплате жилья, мама прятала табельное оружие – маленький белый браунинг, впрочем, в марках я не разбираюсь. Затем он куда-то исчез. И вот неожиданно мне удалось выудить клятву у Игоря, что на время он даст пистолет. Я решила покончить с собой. Рассуждала я здраво, не детски: мир (ГДР) посмотрела, любимое дело (стихи) попервоначально освоила, любовь (в отрочестве) испытала. Родителям я не нужна, они заняты по уши, да и, может быть, удочерили... Ну и что ждет меня нового?! Самое время свалить из брэнного мира.

Я записала стихи на магнитную пленку – для вечности. Попрощалась с единственным другом – эрдельтерьером. Мы долго плакали, он – удивленно. И стали ждать. Вот жду еще и теперь. Но все было *по-настоящему*, и ничего – понарошку. Я свела счеты с жизнью. Прочувствовала свой уход. Вероятно, все это излечило меня почти навсегда от будущего суицида.

Мужем маминой лучшей подруги был актер БДТ Панков. Рафинированный интеллигент, он и меня одарил парой ценнейших советов... В их числе была странная фраза, передаю по наследству, прилагая роман комментарием:

- Тургенев искалечил всю мою жизнь.

...Тем же летом мы с мамой ушли в поход по Военно-Грузинской дороге. Как обычно, и в этом отряде меня возненавидели женщины и поощряли мужчины. Никогда я пальцем не шевельнула, чтоб завладеть их вниманием, а теперь уже и осознанно пыталась настроить их против себя. Безрезультатно. Тренер вытянул группу в цепочку для подъема к подножью Казбека: все мы держались за трос, с особыми предосторожностями переставляя ноги в «кошках» по бирюзовому тугому льду, отражавшему солнце, обветривавшее и сжигавшее кожу. Подобная синь бывает в море на мелководье, нетронутым человеком, или если плывешь с аквалангом в зените дня; ее можно увидеть в самолете над облаками, особенно над океаном... Высокогорные пласты немного льда рассеклись тяжелыми трещинами, уносящими в ночь. Если туда срывался обыкновенный камешек, то вся группа замирала перед ужасом вечности: он летел в никуда. В никуда... В никуда...

Меня поставили между сочными украинками, давно мне мелко мстившими. Когда я занесла ногу над бесконечной расщелиной, то переглянувшие дивчинки резко выпустили веревку. Я сорвалась на два метра и зависла внутри между льдинами, чудом цепляясь за трос... Вот так и входила в мир взрослых.

Так вот – и эдак: интеллектуальные друзья дома различались от остальных и тем, что жили в вечной пыли. Убирать у них было не принято: считалось, что все время должно уходить на спектакли и книги. Никогда я не слышала разговоров о быте – покупках, тряпье. Но мне в квартире вменялось поддерживать чистоту вплоть до генеральных уборок, и как-то в отрочестве, моя раздевшихся и намыленных кукол, я впервые заметила, что они продаются беспольными. Через год-другой Маш и Светлан наградили на фабрике подобием груди, а своим детям я уже покупала беременных, с открывавшимся животом и младенцем внутри.

Июнь был в разгаре. К шестнадцати годам мне, после семилетнего перерыва, позволено стало открыто встречаться с папой, и мы проводили лето на даче в Карелии. Накануне Сюзанка трепалась по телефону, как переспала с нашим общим учителем, а потом он пытался покончить с собой. Я, понятно, ни с кем не «спала» и не целовалась: писала открытки Володе, который еще не вернулся из армии. Говорят, что мужчины много времени размышляют о сексе. О «мальчишках» я непрерывно продумала столько лет, сколько мне нынче. Жалею лишь, что платонически. Для того и пишу. Продолжая за Батлером – нет, себя я тоже не знаю, и этот строго документальный бульварный роман – напоследок попытка в себе разобраться.

К отцу на дачу приехала в отпуск компания. Сын недавнего президента страны – и недавний же зять президента, вдовец по имени Виктор. Дружили сын с отцом чуть не с детства, и политику я выпускаю. С нежностью и опаской воскрешаю события в точности. Стараясь быть краткой.

Над щекой жужжала пчела, перепутавшая мой сарафан с полевыми гвоздикой и розочкой, сплошь закрывавшими луг. Я боялась укуса, но уже не могла шевельнуться: план был прост и лукав – притвориться спящей и подглядывать, что случится. А что будет, я знала. Положение лежа мешало мне из-под прикрытых ресниц рассматривать выше колен приближавшуюся

фигуру: брюки кончались качавшимися от летнего ветра колосьями, «петушками да курочками» в ромашках, а дальше слепило солнце. – И веселый человек с холодными рыбьими глазами, с которым уже две недели мы вслух читали, не по первому кругу, «Назову себя Гантенбайн».

Как *назвать себя* – я не знала, такого слова не говорили, но Сюзи крутила со взрослым, и мне очень хотелось попробовать, а чего – я о том не задумывалась. Как-то нужно было устроить, чтобы Виктор, уже полюбивший серьезно и построивший дальние планы, поцеловал меня без девичьего соизволения. Перед мамой я буду честна, а что мать и совесть раздвоились – я эти мысли гнала. Поди не пчела.

Я притащила подстилочку в чисто поле, рассчитав все по-женски кокетливо: должно быть, и это генетика. Хорош все валить на себя. На закрытой рощей веранде шумела компания, в том числе и мой глубокоуважаемый дядя-доцент, державший дома бордель, причем с красными фонарями, лимитчицами и несовершеннолетними девками, за что бывал даже посажен – и спасен моей мамой. Я прекрасно знала и то, что единит всех мужчин, и какой анекдот, вырвавший новый залп хохота, рассказан сейчас моим папой. Силуэт приближался. Я закрыла глаза и почувствовала легчайший, отеческий поцелуй. Не скажу, что он так мне понравился.

Я закончила школу в шестнадцать, и Витя раз в неделю гонял ко мне в Питер на машинах и самолетах, дожидаясь с цикламенами после лекций. Официально мы были помолвлены, мне подарена яхта «Ассоль». Сама я – представлена его старенькой маме (для меня-то был древен сам Витя, с разницей в двадцать два года, но с тех пор цикламены – святое, почти как фата), в новом качестве введена в правительственную семью, увозима в Москву. Меня по-прежнему не интересовало ничто, кроме Гения (а Витя мой был – тривиальный ученый-химик) и неизвестного Этого.

Но от Этого бог нас хранил, ускорив будущую импотенцию. Если я страдала неведомо от чего, то уж Витя мой – ведомо. Помогли и родители, пригрозив вдруг ставшему негодным жениху резиновым сроком за совращение несовершеннолетней-меня, если что-то меж нами случится. И мы продержались два года, когда мое детское тело расчерчивалось на клеточки для поцелуев и засыпалось цветами, конфетами. Не все ж могли, как маленькая одноклассница Танечка, слинять из-под носа Большого дома, где получала новые звездочки моя мама, на Украину... Но жизнь меня развращала, а я ей поддакивала.

Да и нравился мне талантливый бард, теперь известный. Он, иногородний, лимитил. И вполне по расчету, повыбрав между мною (несовершеннолетней) и ею (верной профессорской дочкой, во всем позже его превзошедшей) на ней и женился. Драма была классической, так как страдала я на пределе мыслимых чувств. Уже тогда я заметила с удивлением, что каждый новый неразделенный роман оказывался больней предыдущего, – а я полагала, что сильней любить невозможно.

Целый день папа укатывал меня на машине по Карельскому перешейку, тем более что мы оба с ним были приглашены на ту свадьбу... С тех пор май в моей жизни играет зловещую роль.

Получалось, что Виктору поцелуй я дала – но ведь без любви. И заодно дала при помолвке нечеткое слово, терзаясь теперь день и ночь между долгом и истиной. Под Москвой мы вдвоем отыскивали воинскую часть, в которой Володя ждал дембеля. Я хотела сама сказать правду, но другие уже позаботились. Еще несколько лет после армии я встречала Володю пришибленным: то ли бром, разбавлявший солдатский компот, то ли депрессия на моей почве прибивали его ниже плинтуса. Не помню, чтоб он поднялся.

А зимой мы все той же компанией Виктора на машинах поехали в Суздаль. Жили в комнатах мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Я, запомнившая от Лаокоона трагическое выражение лица, но шею – уже с трудом, и целомудренно отворачивавшаяся даже на пляже от всего, что хотелось бы видеть (нас так воспитали, по правде отбив и желание), - в коридоре столкнулась с Витей в семейных трусах. «Вытрезвиловка», подвешая Игоря, повторилась. Развевавшиеся, как занавес в Малом театре, чернильные сатиновые портки длиной почти что до щиколоток, кокетливо приоткрывшие кривые мужские, да еще волосато-лысье ноги, поставили жирную точку. А как же эстетика?! Утром, садясь в первый поезд на Питер, я вернула Вите кольцо. Вместе с «Ассоль». Вскоре стало известно, что он пытался покончить с собой на машине на льду, переломан, чудом ожил. Мы расстались лет на пятнадцать.

Здесь, пожалуй, кончается детство. Меня изумляет, почему в России оно стало таким затяжным. Хотя мы знаем ответ. Я считала себя страшной дрянью, но не умела идти против совести и какого-то стержня. Различала два цвета – розовый и голубой. Сей пастельный мир гарантировал вечную праздничную круговерть, мечту Дюймовочки и куда более зрелой Мальвины. Никого я не убивала, не предавала сознательно. Старалась не плыть по течению, да и была самобытна. Но с этого времени я плачу за чьи-то грехи. Должно быть – свои.

Детство мне вспоминается как игрушка-калейдоскоп, набитая цветными стеклышками, выстраивающимися в прихотливый, повторяющийся узор. И в школе, и в универе я дружила только с мальчишками и сама «была» парнем, считали – в доску своим. Я числилась заводилой и запевалой в строю, ничего не боялась, и еще в восьмом отвесила оплеуху развратному физруку, подсаживавшему девчонок на шведскую стенку на вытянутой под их купальниками ладони. Тогда за пощечину увольняли из школы немедленно, но класс меня поддержал. Я влепила за дело по морде и воспитателю в лагере, и мальчишке во время танцев, когда он «не понял» предупредения и прижал, обнимая так, что у обоих нас хрустнули кости. Танцевать я любила ужасно, и сейчас берет трепет, когда вижу дощатую сцену и слышу слащавых, позволявших задерживаться во взаимной раскатке, «Песняров» или «Аббу». Истекая неведомо чем, из последних щенячьих сил скрывая нарастающую страсть и томление (как любовь ни к кому, в пространство, затем перешедшую в нежность) от себя и других, я боролась с Природой.

Кипящая эта романтика как-то не пересекалась со встречавшимися маньяками. Один караулил возвращавшихся малышей в парадной у школы, и в его светлосером костюме мне запомнилась только грязь. Я «сдала» его маме. Другой вбежал за мной в лифт и, нажав между этажами «стоп», стал затягивать удавкой мой истершийся красный галстук. Больше всего было жалко, что шелк затрещал, ведь там и так были дырочки. Я всегда честно предупреждала насильников, что буду кричать или бить (потом, получив уже в юности женский тренерский пояс по каратэ), и никогда мне не верили – легкой, вроде бы хлипкой. Тогда спас меня Нэд. Мама услышала крик и выпустила разъяренного пса из квартиры, и все пять этажей он гнал эту словочу по лестнице.

Я больно переживала то, что нянька наклепывала на меня, маленькую, но родители верили – взрослой. Они оба были в отчаянии. И когда папа в педагогическом бессилии завозил меня в чащу, устав пороть при соседях и бросавшейся наперерез ремню маме, и зажимал всегда лохматую мою голову между ног, закатываясь петлей по оголенному заду, то со временем (всего-то были лесные разы, но – застывшие мне полжизни) я научилась по силе руки различать, когда отец просто жалел меня и пряхка срывалась на нежность... Папа был тогда еще добрым. Потом это зигзагом вернулось.

Меня никогда не пускали к дворовым, и я дружила урывками. Но и на даче, и в городе, когда удавалось сбежать и участвовать командами в индейцах и «Казаках-разбойниках», а враги меня брали в плен, то свои и чужие знали, что пытать меня бесполезно. Привязана к дереву, исхлыстана крапивой, с синяками от свистящих булыжников, я не выдавала «военную тайну» и отрядный пароль. Иногда качалась, высоко подвешена на какой-нибудь пыльной березе, с утра без еды и питья, и противники сами уговаривали меня что-то придумать, чтобы повод был отпустить: темно, всем пора возвращаться домой, где их точно так же лупили.

Я не увлекалась «бутылочкой», не прижималась в подъездах, никогда не ругалась и слушалась старших. И к филфаковскому цветнику, прославившемуся питерскими топ-моделями (тогда слова такого не знали), прибилась в первых рядах, в чем заслуга только родителей. Хулиганкой и двоечницей – но с ногами и физиономией. Так что в зеркало я не смотрелась уже по причине ненужности. Но ни малейшей уверенности в себе у меня не прибавилось: я следовала совести и тому странному, все перебившему голосу, диктовавшему мне стихи, который заглушил мир и даже кровь, когда она восставала на творчество.

Все наши блатные студентки (других там и не было) не глядели по сторонам из равнодушия: их брак давно был просчитан, и будущие жены стучачей-дипломатов, иностранцев и директоров фабрик замечали только учебу. А я ждала принца, причем нищего по-советски, не обязательно знающего (на то были энциклопедии, а умных мне не встречалось), но, как мечтательно указывали в школьных сочинениях на свободную тему волоокие милочки, «хорошего человека», по любви и по дружбе.

Я не вписывалась никуда, во всем полукровка. От дворян и партийных начальников, от совковых интеллигентов, в любом кругу – совершенно чужая

и ни к кому не пристроилась. Настояна на высоких принципах, вижу, как мне повезло: в тех крошечных условиях просто чудом меня не изнасиловали раньше времени, а «поцелуй без любви» безвариантно загнал бы меня на подоконник и виселицу. Мне же не объясняли, что достаточно принять душ и заставить себя все это забыть – как отрезать. Не убиваться же.

Мотая очередные экзамены, я валялась по благу в больнице. Никаких парней я не знала. Вероятно, обалдевший от рутинной работы юморист-гинеколог встретил меня с порога:

- Деточка, а вы беременны!

Я позвонила маме и во всем «честно призналась». Своих сомнений не скрыла... А в чем – я не очень-то знала. Через час я за шкирку была доставлена мамой в женскую консультацию, где меня, видимо, сделала женщиной общая наша врачиха. Далеко в будущем, благодаря той же твари, я потеряла ребенка.

А тогда, в неполных шестнадцать, я ежедневно тайком встречалась в траве на крыше больничного дзота с прибежавшей маманей и покорно подставляла ей ягодицы для гормональных уколов. От стыда моя мама по пути уменьшалась в размерах. Сколько было тогда обиды и унижения – рассказать теперь не берусь. Но на грани самоубийства.

Часть 2. Отрочество.

Глава 1.

Есть такой сорт мужчин – наших вечных «подружек». При них можно, забывшись, случайно раздеться, попутно делясь новой сплетней. Как правило, они в нас влюблены безответно: мы-то их не замечаем. У меня таких было несколько, вроде как Нэд. И вот появился в зимнем студенческом пансионате какой-то по счету Володя, – и его не хотелось бы тоже впускать в самолетное читиво, но выхода нет.

Гитарист, спортсмен, юморист, еврей, рабочий, вечерний и вечный студент... «Спортсменка, комсомолка, красавица!». У него, надо отдать должное, извилин хватало, как и у меня, комсомол обойти стороной. Он жил в комнате с младшим братом, собирал на службе допотопные телефонные аппараты, а запчасти спускал за бабки налево. Денег хватало, он слез с родительской шеи. К плечу болоньевой куртки приторочил, или так полагалось, кармашек, но всегда для меня держал там конфетку-сосучку.

Этот Володя у нас почти прописался, дневал-ночевал, пригреваем моей мамулей как раз потому, что я к нему ровно дышала. Длилось все это пару лет, меня ему «доверяли». Как-то мы по телефону обсуждали пути размножения, обозначив три точки как а, b и с, и тогда я в теории хоть что-то по капле усвоила...

Я часто слышала о его лучшем друге Лешке, профессиональном военном, и вот этот Леша приехал. Обоих нас сразу же «кликнуло», но мне нужно было, согласно несчастному нраву, еще долго присматриваться, проверять свои

чувства (пока что одни ощущения), органично тянуть резину. А тем временем опытный Лешка подкупил меня, подняв на вытянутой руке и подержав в поднебесье. Много ли барышне надо.

Через неделю, на глазах у Володи, пасшего меня год, у нас развился бурный роман: мы один раз поцеловались. Как я сейчас понимаю, физиологически Лешка был моим типом: волевой и крепкий блондин, отныне полностью занятый мной. Я купалась в любви и внимании, точнее, до них слегка снисходила, по натуре не будучи стервой.

Назавтра Володя, точно так же, как его друг, причинно уверенный в собственной неотразимости, уезжал в пионерлагерь вожатым. Мы с Лешкой договорились подскочить туда через пару дней компанией и продолжить гулянку на озере у костра под гитару и бит. В электричке мы были вдвоем, и так много смеялись, что еще раз поцеловались.

От барака до озера нужно идти редколесьем, и в те предрассветные сумерки, когда приятели веселились и пили, пугая воплями разбуженных пионеров, я вернулась к себе в комнату переодеться: едва не впервые и мне захотелось перед кем-то покрасоваться. Наряд у меня был один: папа привез из загранки потрясное платье, точнее, мы расспрашивали всех знакомых, но никто точно не знал, это на бал – или ночная рубашка. Там шли цветочки по кружеву на сжатом беленьком хлопке, полубольничные завязочки невысшимой крутизны, и теперь-то я не сомневаюсь, что европейки нежные в этой клумбе видели сны. Но тогда, при моей независимости и смелости, я гордо вышагивала, почти в чем мать родила, по сосновым иголкам. И услышала вопль. Разметавшись по тропинке, как ветки деревьев, навстречу неслась необъятная воспиталка из наших, у костра громче всех тянувшая шлягеры басом, – вызванивать скорую.

Пока я отдыхала от всех них, мои кавалеры решили выяснить отношения. Леший честно сказал: целовались. Тогда Володя, много лет работавший в лагере и прекрасно знавший, где мелкое дно, привел Лешку на запрещенные мостки – на пару нырять с головой. Когда Лешка тонул, перебив позвоночник и по пути захлебнувшись, то именно лучший кореш его вытащил из воды, откачал и спас ему жизнь. Как сказал врач скорой помощи, расстелив Лешку на досках и прокалывая ему бесчувственные ступни шилом, «Ты, парень, еще сто раз пожалеешь, что остался жив».

Лешкина башка в бессознанке прыгала у меня на коленях зеленой загородной ветеринарки, сплошь обшитой железом, по кочкам, по горкам и в ямку. Мы катались по лавке и днищу, а за битым стеклом проносились вересковые насыпи со шмелями, розовые рассветные сосны, клокочущая ледяная Вуокса. Отдав Лешего на рентген, я должна была смотаться на перекладных на дачу к его отцу и сообщить о беде, а затем добираться в Карелию, чтоб не влетело от матери, и оттуда, без телефона, разыскивать Лешку в больницах.

Следующий раз я увидела его бритого наголо, перемазанного операционным йодом в палате спинальников, которую ежедневно посещала год, и еще полгода – через день, отвлекаясь на поездки к Лешке в Москву, когда его брали по благу. Я выучилась быть сиделкой, таскать бульон в

термосах, добывать водку через пробоину в госпитальной стене из недалекой пивнушки, торговаться за конфорку ночью на кухне, откуда разило немытыми тряпками: точно так пахли котлеты, которые я забирала мешками для Нэда в нашей дворовой столовке. С тех пор котлет я не ем.

Мбя в ванне, как кукол, не только голого и обреченного Лешку, но и соседей по койкам, я ночью от всей их палаты писала нашей надежде, Леви, учившему аутотренингу... Психология инвалида остро меняется, многие «позвонки» нарочно ленились, используя близких, а Лешка пытался покончить с собой; как раз он-то был сильным духом.

Я перестала его навещать, когда нашлась мне замена; мы оба знали, что никакой любви не было, а то я провела бы там жизнь. Помогал Лешке также Володя, спасатель-спаситель-убийца. И Леший, никогда уже больше не вставший, научился водить машину и женился на медсестре, – последнее, что о нем знаю. Был прощальным тот наш поцелуй в электричке.

Я, конечно, приезжала к нему и домой, познакомившись с родственниками. И там влюбилась отчаянно. Не в Лешку. Развернулось – при том нашем максимализме и незнании жизни – как я считаю, предательство. А двойное, тройное – неважно.

Лешка, купаемый мной завернутым в простыню, но совершенно бесполой рядом с нашей общей бедой и физической болью, напоминал всей несправедливостью и беззащитностью карельского сумасшедшего: я в детстве видела, как стая мальчишек загоняла палками и гиканьем больного к лесу, которого он боялся, и заставляла раздеться. Ему «помогали», тыча рогатиной в пах и с боку на бок перетряхивая гениталии, но я осызала только сырую слипшуюся мукú жирного тела, а когда осознала происходящее, то швыряла в мальчишек камнями и разгоняла по хутору.

Ничего сексуального не было и когда на привале Военно-Грузинской дороги на глазах мамы, хохлушек и наших туристов меня незаметно приблизил в танце к открытой настееж машине какой-то, должно быть, чеченец, уже сделавший мне предложение, наобещавший приданое, но даже не прятавший обручальное кольцо на своем безымянном. Опять спасло меня чудо: за газовавшей машиной бросились наши парни, не сводившие с меня глаз, теперь – очень вовремя.

Но отвлеклась. У Лешего был старший брат, смесь высокопоставленного совка с комсомольской маской – и запада. Он снимал в Москве комнату, а в Вене держал квартиру, что в двадцать с небольшим означало особые дипзаслуги, потомственное военное, точней, комитетское поприще. Тогда в этом я не разбиралась. Но такой успешный красавец женщинами был балован, – куда уж какой-то девчонке, не ставившей себя ни в грош... Однако мы оба увлеклись так, что нас не остановило даже собственное предательство; невозможно было сдержаться, хотя этот поступок сопровождался терзаниями опять же по Федор Михайлычу.

Надо же, я впервые забыла имя героя-любownika. Счастливое свойство, защитная реакция памяти – стирать кликухи, номера телефонов и даты, принесшие горе. Мои персонажи, параллельно читающие сейчас эту рукопись, комментируют и корректируют. Половина из них вообще не знает о страсти,

обвиняя меня... в темпераменте. Но никто из них мой пожар водой не гасил, их колодцы иссякли до нас. Сытый голодного не разумеет, а мои аппетиты – скромней не бывает, иначе как бы я выдержала эту пустынную сушь?.. Но их я жалею по привычке сильней, чем себя. Лучше познать – и терпеть, чем даже ни разу не пробовать.

Приехав как-то в Москву, я осталась ночевать у – кажется, все же Сергея – на единственной раскладушке. Я предупреждала о боли, но ему, мачо, в голову не могло прийти, что он первый, а я так и не знаю, когда стала женщиной – тогда с Танькой под скатертью или у врача в консультации... Наутро в сонном и злом метро его смущало лишь то, что нас могут вместе заметить.

Мама как-то меня припугнула, что девочка остается красивой (и, конечно, желанной) только до первой близости. С опаской я наконец посмотрела в запретное зеркало и увидела, что подурнела.

Летом мы с подружкой на даче имели тайную цель. Я, давясь, стала есть принудительно, заставляя себя заливаться парным молоком и запихивать в рот сырой хлеб, продававшийся кирпичами прямо с вагонов, для колхозников и свиней. Во что бы то ни стало мне нужно было поправиться, окрасить мальчишеский бюст. Принудительно я еще и загорала, добиваясь эффекта, и к сентябрю, нацепив фамильные украшения (так как знала, что нужна я приклатненной и состоятельной), пошла к милому на свидание. И его победила. Но он-то мне больше не требовался.

С этого момента я начинаю в них, платонических и не совсем, путаться. Они по-прежнему угрожали покончить собой и, не оправдывая надежды на нищего, только не духом, принца, никак меня не устраивали. Почему – непонятно. Максимализм и никем не опровергнутая привычка доверять первому внешнему впечатлению закрыли мне все пути. Вот тогда на конференции поэтов Севера-Запада я услышала талантливые стихи и, снисходя со своего дамского пьедестала, поощрила запиской их автора, рыже-каштанового синеглазого парня, приехавшего на недельку из Мурманска.

Так бывает, что вы не совпали во времени. С разной скоростью созреваете. Да еще и быт тормозит: отменяются поезда, опаздывают самолеты, – сплошные препятствия. Нодар уже неудачно женился-развелся и не был готов к продолжению. Я – каждого воспринимала как «навсегда», готова к самопожертвованию во имя высоких ценностей. Это ж достойней, чем путаться с кем попало, как все вокруг делали, кроме редких счастливиц, сразу же вышедших замуж. Если влюблялась, то растворялась в герое и не только не шарила по сторонам, но со временем выработала ледяную непреклонную маску, отпугивавшую просителей даже на встречном эскалаторе. А на улице претенденты замирали на полуслове и отводили глаза. Задачей (и постоянной болью за нежданно попавшихся в свои собственные, не мной расставлявшиеся сети) было сократить число Дон-Жуанов, и я как раз переживала один из трудных этапов: к моменту возникновения Нодара в моей суетной жизни меня преследовало одновременно человек двадцать, но уже на границе терпения, и я ждала, спасаясь через черный ход и арочные лабиринты, когда устроят мне темную, сплотившись и наконец отомстив. Изобьют, это проще.

Они сталкивались в дверях, ночевали у лифта, скулили и угрожали, но, как кто-то вовремя посоветовал и подыскал очень нужное для меня самой оправдание, – я была одна, а их – множество, и это же не означало спать со всеми желявшинами. Так и на танцах на даче я всем вынужденно «разрешала меня проводить», а ночью позорно спасалась одна, бегом через лес, где медведи и волки. От мужчин я комфорта не знала, но в чаще было спокойней.

Судьба ожесточилась и загоняла в тупик, это было настолько серьезно, что я прекрасно помню себя, стоящей наконец-то снова у зеркала с бритвой в руке, когда я без шуток примеривалась, как лучше наискось чиркнуть по лицу, чтоб отвадить поклонников и не причинять сильному полу боли. Это редкий кадр в отражении: вот я уже откинула и закрепила заколками мешавшую длинную челку, – еще как-то помочь ухажемам... Следующее свидание с амальгамой пришло через годы: совершенно случайно в гостях я заметила себя в трельяже и... удивилась. Понятия не имела, что у меня был пленительный профиль, густые темные волосы, смуглый румянец, и от изумления я себе даже впервые понравилась (господи, что скажет мама). Сработал стереотип: смотреться безнравственно! И все же походя я маму спросила: почему она не говорила, что комплексовать мне не стоило? Другое дело, я искала того, кто достоин Любви, а не какой-то меня, и нет вины моей в том, что таких рядом не было. Если все повторить, то я бы не стала всеядной, всех их отвергла бы снова. Выбирала-то я самых лучших, – но и они... И они.

На сей раз Нодар занял все мое буйное сердце. Самобытный поэт и непризнанный драматург, дивный красавец как раз в моем невзыскательном вкусе – статный и синеглазый, но изнеженно белокожий, а как вскоре и выяснилось, абсолютно пассивный в любви, так как балован был столичными актрисульками и запойно пил, не просыхая. Кого удивишь в российской богеме загулами?

Я таскала его, бесчувственного, из гостей за руки – за ноги, а однажды в Мурманске он не только меня обокрал, взяв отложенное на дорогу до Питера, но и изнасиловал на очередной раскладушке. Я все простила; мы назначили дату свадьбы. Правда, грузин, он не мог пережить отсутствие девственности и все время злобно подкалывал.

Я заказала красное платье – как алые паруса (какой уж тут fleur d'orange) и мне достали по благу справку о псевдо-беременности, чтоб ускорить процесс: мы хотели попутешествовать, а в советских гостиницах селили в соответствии с документами, мужа с женой.

В день регистрации, совпавшей с открытием очередной поэтической конференции, где я явно была конкуренткой и заведомым победителем, он не приехал. Наступил еще один «самый черный день» в моей жизни: всегда полагала, что больней уже не бывает, но каждый раз судьба закатывалась от хохота, пригибая меня и насилуя. Других рядом не было. Я, оптимистка, не склонная к суициду, монотонно билась зареванной мордой об шкаф. Любая боль была б легче той, что я испытала морально.

Пережив кое-как этот ужас, дала себе слово: выйти за первого встречного, сделавшего предложение. Он подвернулся немедленно, и моя исповедь с

предупреждением, что любить я не буду, планов его не нарушила. Тем более, мама уже назвала меня проституткой, когда я ей звонила от булочной, а как после этого возвращаться домой?

...На рассвете в канун бракосочетания лучший друг моего жениха прикатил уговаривать меня отказаться от глупости. Поразительно, что в скором времени я нашла очередную записку: опять все делалось на спор, мной торговали. А считалось, любили. Решка – или орел.

То, что у других вообще-то относится к сексу, происходило и в этом случае в глухой темноте за портьерами - крепко зажмутив глаза. Потеряв на раннем сроке первого ребенка, приступили мы ко второму. Но все мои встречи с мужчинами были исключительно разовыми и даже издали не напоминали размеренную семейную жизнь. Регулярную – это что-то такое раз в год?

Видя мои больничные терзания, муж пытался добиться аборта, и в два месяца беременности я наконец развелась по телефону. А в шесть, проведенных на койке, где в обнимку с капельницей я делала все, чтобы дать жизнь моей дочке, пришло вдруг письмо от Нодара. Мой любимый человек сообщал, что хочет вернуться, в первых числах ноября проездом планирует Питер, и что я «лучше всех».

И что было делать? Убить младенца, за которого шла борьба не на жизнь, а на смерть уже целых полгода?.. Конечно, Нодар тогда был бы со мной!

Над решением я не билась, хотя жизнь моя снова обрушилась. А в начале условленного ноября я слегка ускорила роды, бегая по этажам с ведрами воды в исколотых руках, упражняясь в перетаскивании кроватей с железными спинками, так что Нодар подоспел как раз к стирке пеленок и в этом весьма преуспел.

Но вскоре, на даче, повторился его запой, сопряженный с худшими качествами. Я пыталась сократить это пиршество наполовину, откупоривая бутылку на улице и давась из горла. Не помогало. Перепробовала я всё, жизнь потом подтвердила, что тщетно. Или я обречена вести это звериное существование, не в силах помочь мучавшемуся, как на кресте, человеку, или мы идем на разрыв.

Я спасти его не могла. Потому с ним рассталась. Это подло – бросать в меня камень и считать простой «одержимой»: я любила по-настоящему. Каждый раз, обещая мне счастье и знакомя с кем-то серьезно, жизнь в последний момент выставляла подножку и разбивала нас в прах.

Часть 3. Юность.

Глава 1.

Так далеко во времени, казалось, отошли все эти бритые парни в подъезде, приветствовавшие меня одновременным поднятием кепок, под которыми светились тюремные лысины... Неприступность ужесточилась. Никому не могло прийти в голову, что ставшая после родов по-настоящему красивой юная женщина, с умом, образованием, говорили – талантом, и уж

точно – с роскошными ногами, – в принципе может быть одна. Конечно, у нее есть широкоплечий защитник! И даже смотреть в ее сторону нечего, терять время. Еще и по башке получить, если мифический спутник заметит... Такая же участь, я думаю, постигла затем мою дочь: принцессы по определению «не бывают одни». Нечего даже пытаться.

Хорошо бы придумать роман – да судьба богаче фантазией. Героиня путается в его глазах, вызывая психоз: была блондинкой – а потом на страницах вдруг обернулась брюнеткой, музыкантша – художницей, святая – порочной... Но мне к жизни добавить нечего. Я ее пропустила. Испытав, казалось бы, всё. Да и прозы мне больше не нужно.

Знакомый поэт, давно меня осаждавший, явился домой в нашу общую с Нодаром дату. Я такие вещи блюла, объяснила ему – и поверила, будто он, рыцарь, приставать сегодня не будет, и мне можно расслабиться. Оказалось, мужчины не связаны словом, если легкая дичь перед ними... С тех пор я была агрессивной и оборонялась с порога.

Прошло время, и от физического и морального одиночества я тихо полезла на стенки. Живот грызли лисята, а их язычки ничем не отличались от языков пламени. Впрочем, сжигать руку над свечой пришлось мне все-таки позже.

А подружка прислала альфонса. Убеждала: так нужно для здоровья, для спорта... Оказалось, что принципы выше, и без чувств – невозможно. О чем я сегодня жалею. Значит, следовало выпить. Но я и не пью... Ведь самое страшное что? Дать поцелуй без любви. А уж если случилось, то порядочная женщина – скажите мне, что она делает? Правильно! Выскочит замуж. Вот моя мамочка: не только однолюб, но, после развода, разве что пара усердных хакелей добилась ее благосклонного взгляда! А тоже ведь молодая... Ну так и я из прожитой четверти века лет семнадцать думала только о сексе, даже когда сочиняла стихи и сдавала экзамены. Но под пыткой о том не узнают! И никакого *post coitus*. Ведь я-то одна, у меня никаких отношений. А другие, что замужем, «спят» в сутки по несколько раз, они сами и хвастают. Или у вас нет жены?..

Очень легкого поведения подружка Валька печально сказала, озираясь на дверь:

- А что, ты прикажешь мне бросаться на них прямо на улице?! Я лучше достану вибратор, и все будет прилично!

А «подружка» Андрюшка прописался тут – днем и ночью. О любви он мне не говорил: понимал, что тогда сразу выгоню. Я смотрела на его бизоньи мысли и постигала, что «через не могу» не получится, и лучше уж я подожду. Мы трепались о литературе.

Если лет в семнадцать я, в тот редчайший раз, пялилась в зеркало и вздыхала, что вот я уже старая дева, и как жаль – никому не достались все эти, наверное, прелести, – то другая грань была рядом. На сохранении я оказалась в палате с одной своей одноклассницей, лечившейся там же от сифилиса и не менее, чем я, беременной... Но таких общество не обвиняло: она вышла за мальчика из параллельного класса еще на «последнем звонке» и грешила втихую.

О Сюзии я знала то же: она вроде, как и говорила, не отказывала никому, живя радостно и поверхностно; но и я, преодолевая барьеры и безмерные пропасти, приближалась к ее результату. Зачем же мне было страдать? Или душевные мучки вырабатывают особенную энергию, на которой и держится мир?... К чему это интеллигентское самокопание? Рефлектировать, когда итог – одинаков, только мне он дается несладкой пыткой и испаряющимся серым веществом, – но нервные же клетки не восстанавливаются. Почему мне нельзя окунуться в общественный омут, насладиться пиром во время чумы? А я и не пробовала.

Устав от терзаний, я записалась в секцию запрещенного тогда каратэ. Как и раньше, одна – с мужиками. Работал со мной только тренер. Спорт отвлекал от иллюзий, и я даже выступила на показательных университетских соревнованиях, без малейших талантов к борьбе, если я дерусь не с собой.

Я пока что не догадалась о *прямой зависимости* творчества от гормонов, а то бы задумалась. В этой связи не освещали ни оперу, ни балет. Не зря мне не хватало наличия энергетических интеллектуальных центров, которые объединили бы науку-искусство, достижения поколений. Каждый пишущий (да и живущий) начинает все заново, будто до него – пустота, и теряет время на технику и азы. Нам и так-то необходима ревизия литературы: сколько ремесленников записано в классики зря, а пока доберешься до списка Бродского – закончится жизнь обывателя, и таланта.

Я не то что завидовала (это чувство мне неизвестно, как ревность), но с тоскливым удивлением замечала чужие двуспальные кровати: надо же, кто-то вместе отходит к Морфею... Я всегда от уюта и горя засыпала мгновенно, а милый сопричастный быт мне только снился. От целующихся отворачивалась не из одной скромности, а по принципу Блока – как от тех голубков на крыше... Наблюдала за старыми парами: когда муж и жена так сжились, что даже в уборную поднимались одновременно, и им приходилось теперь запирается, сроднившимся. Так и хозяйева уморительно напоминают собак... По весне было горько особенно. И знакомая, пожалев, привела мне художника, за которого, уже будучи крепко отравлена нашим сыном, я вышла замуж. Обоих я обожала. Наконец счастье!

Как всегда, особенно в отражении в лифте или в метро, мне импонировало, что мой спутник выше на пару голов. Но это касалось обычно именно роста... А ведь так важно за любимым тянуться. Опереться на сильного, мудрого, подарив всю прелесть и нежность, окружив теплом и заботой. Но от Саши я слышала постоянный, незаслуженный мной укор, что поэтессы все – лесбиянки, путаются с кем попало, и мне он, совсем бездуховный, тоже не верил. Винаила себя: у жены должно быть цельное прошлое. А тут вон сколько воспоминаний... Он так и не смог мне простить не наличие дочки, а дурацкую плеву (написала я – «плевру» и полезла в словарь). Что ж тогда говорить о оценках: он их ненавидел! Не умел со мной поделить, уговаривал сдать в интернат. В тот небось, на пороге которого и меня пороли, воспитывая...

Как-то, в секунду согласия, я почувствовала, что теряю сознание, глаза заполнила зелень: впервые в жизни я отключалась от реальности во время близости. Я испугалась и сразу об этом сказала (он же опытной и постарше...).

Никогда мне не говорили, что бывает оргазм. Так и не знаю: то ли муж был тоже не в курсе, то ли боялся признаться (чтоб меня в будущем не потянуло на сладкое, и что все до этого – оказалось иллюзией).

Мне поведала родственница, изменившая мужу через двенадцать лет «регулярного» брака, что любовник-невропатолог сказал ей: мол, все это время она была девственницей, и еще бы немножко – свихнулась... Первый оргазм при наличии двух детей и пары браков – обычное дело среди моих сверстниц в нашей среде и в стране, где «не было секса». И ведь грех жаловаться на тех великолепно сложенных, холеных, самодовольных самцов, что встречались мне в жизни, на зависть всем окружающим. Мы обсуждали проблему фригидности, подразумевая под ней совершенно не это.

Но слыхала я и об ином. Подружка – дочка известной фантастки, из благополучной и интеллигентной семьи, ежегодно ездила в Грузию, где ее в парке насиловали под пистолетом. Вот теперь я немножко эту дичь поняла. И знакомая Оксана в шестнадцать лет пережила групповое изнасилование, на чем и заиклилась: говорила только о нем... Это травмы психические. Но разве можно сравнить рядового южанина (не дай бог такого в мужья) – и среднего советского флегматика-алкоголика, залитого слезой по самое не могу? Не говоря уж о том, что в эмиграции мне подружка Валька призналась: «После негров ты мне наших не вспоминай».

...Меня же больше всего волновала уже осознанная зависимость от неодинокства. Максимальная концентрация за пишущей машинкой требовала разрядки – чередование творчества и бездумного шумного праздника. Я терпеть не могла появляться где-то одна, тем более что тогда все жалкие силы уходили на оборону: я шла и стояла в привычной готовности врезать по морде, отразить приставание, парировать мужицкий подкол и слащавую лесть. Я просто всех их боялась, будучи скромной, теплой и тихой, но оставаясь на людях от страха тамадой, заводилой, – как раньше бывала председателем отряда, старостой класса, при первой возможности прячась в тень. А ценить или просто любить себя не как личность, но хоть как животное, выплунутое природой, запрещалось категорически: нельзя и помыслить, грех смертный.

Мы с мужем уже расставались, но он приползал на коленях, раскачиваясь в грязи посреди двора, который все то же самое видел в иную эпоху, и умоляя вернуться... Меня вообще не бросали, я всегда уходила сама, и каждый раз – от нравственной невозможности это длить. Умные существовали, но при мне они были злыми, законченными подлецами по отношению к слабым, а талантливые – глупы и безвольны. Осаждали меня знаменитости, чьи фамилии опускаю (как спускала их прежде с лестницы и о том никогда не жалела). Ухаживали трафаретно: торт из «Норда», дефицитные (у кого-то – свои уже) книжки, картины и фильмы, и нередко мои растерянные ухагеры одновременно являлись с одинаковыми букетами, купленными возле метро у той же самой бабуся... Я легко это сглаживала: у меня не видно зрачков, а круглые угольные глаза сумасшедшей куклы выражают все, что вам хочется.

Брак же неравен всегда, и этот плюс-минус насилия по договоренности и взаимному умолчанию нам вменила натура, подложив блондинок брюнетам и

подразумеваемая... Мир условился прикрывать преступление, блюсти светскость и фальшь. Перманентное одиночество и тишина заоконного снега, необычайная под приглушенный звоночек трамвая за стеклами, давала мне время на выводы, но шаргалок никто не совал.

Перед самым разводом пошла я с мужем на то, что, по узости кругозора, считала самым крутым откровением между людьми вообще, и никак не могла предположить, что после такой невиданной близости можно расстаться и еще оставаться в живых. Любовь была всеобъемлющей – и на века. Как все предыдущие, больше (как любая последующая). Это теперь при муже рожают, под хруст чипсов смотрят порнуху, и он легко может воспользоваться гинекологическими и прочими инструментами, насколько хватает фантазии. Но, желая унизить, мужчина и не догадывается о том, что Она-то как раз воспарит. Чаще всего – снизойдя, если, как я, не знает правил игры. И если вы – не «две половинки», когда карты смешаются и отсутствуют счеты.

Я осталась одна, когда сыну исполнилось четыре месяца (ровно как Верке сегодня). Полнейший крах жизни, иллюзий – я думала, что последних. Сколько судеб вместились?! По фотографии, где мне всего-то двенадцать, заметно, что отталкивала я врожденной нравственной планкой, а если пионерски, так как иного не знали, – то «четвертой высотой», которой тогда мы зачитывались.

- Бабушка, он мне так нравится!

- А ты ему?

- Не уверена...

- Запомни, никогда нельзя унижаться. Сначала тебя должны выбрать и полюбить! Главное в девушке – гордость!

И еще через годы:

- Бабушка, как вы вместе прожили всю жизнь?

- Просто для меня, детка, всегда было важным оставаться самой любимой.

Среди всех его прочих возлюбленных...

- Я просила родителей найти мне... избранника. Раз они когда-то дружили с мамой и папой этого мальчика, то ведь знали, каким должен получиться их сын. Почему они не помогли мне, не познакомили сами?!

Только в двадцать семь лет во мне что-то защелкнулось, и я стала соображать: сбросила мамины путы и прекратила отчитываться. Процесс пошел: я, кажется, стала женщиной.

Часть 4. Незрелость.

Глава 1.

Ненужное вычеркнуть (пропускаю тела и лица). Мелькают обрывки пазла. Вот талантливый автор у меня стреляет рублик на пиво, а потом мне же его возвращает... Вместе с пивом, так как тошнит с бодуна постоянно. Это наши родимые будни. Черемуха отношений.

Вот мы встретились с Виктором, спустя годы разлуки. Все во мне загорелось: оттаяло. Но повторов, увы, не бывает. Мы с ним были по духу родными, а пары бы не получилось: одного этого мало.

Я жила бурно, сценично: снимешь трубку, чтобы набрать – а телефон уже раскалывается (непрерывный трезвон затем сменился свистком чайника от одиночества, даже просто будильником, а в другой эпохе со мной говорит навигатор). Без этой стадности тяжело, но при ней – тошно. Мы вели богемный стиль жизни, и теперь-то я знаю, что каждому выпадает продегустировать полярные роли: счастливец – банкрот, нищий духом – богач, инь – ян... Облизнулся – забрали.

Детям нужен был врач, и у меня, поначалу так прозаически, разросся интеллектуальный роман с гениальным, как все говорили, Львом Самуиловичем. Национальность в те годы определяла ум и способности. И задуматься-то было не с чего о том, что вклиниться мне невозможно: настоящий айдисхе-папа своих детей не бросает. Все так и случилось: Лев развелся из-за меня, многократно потом возвращаясь в семью – и принося циничную боль моим деткам. Здесь имеет смысл задержаться... Лет так на семь.

Подружились мы одновременно. Саша с Юлькой – статная, веселая пара ровесников – и мы со Львом, серьезные да занятые. Юлька, подружка с детства, яркая звезда Сиона с мужским и властным характером, уже озвучилась в качестве Сашиной невесты, но намыливалась за кордон. Как и Лева, – а вслед за ним я. Меня мариновали в отказе, а наши с Сашкой партнеры уже закончили курсы иврита и отправили дальний багаж. Обратная связь тогда еще была минимальной, никто точно не знал, брать ли тряпку и швабру в контейнер. Везли библиотеки. Мой знакомый психиатр-миллионер, впоследствии заколовший акупунктурой в Германии мужа своей дамы сердца, придумал шахматный ход: его состояние (ювелирное) отслеживали бандиты, и тогда он заколотил фанерные ящики с книгами платиновыми гвоздями...

Саша мучился и тосковал, скрывая это от Юльки, и мы с ним по ночам плакались по телефону – бывало, что до утра. Ночевал он в заброшенном и расселенном доме, где забыли отрезать провод, но зимой уже не топили. Днем мы часто гуляли вдвоем в навеки так и оставшемся блокадным городе, где весной витал запах кулича за пазухой у старушек, а зимой – хлебный дух кошачьих подъездов, смешиваясь с промерзшей гнилою картошкой. Как раз ввели жесткие карточки. Сохранялись одни только запахи.

Сашка чувствовал себя в позе распятыя; перешел с курева на коньяк и антидепрессанты, и я за него волновалась строго по поводу. Сама же горела, как свеча, ровно: ломать руки в отчаянии мне-то теперь было поздно. Мы поддерживали друг друга и стали совсем родными. Как любой ослепительный внешне, балованный, но скромный парень, наверняка он мысленно давно со мной переспал, многократно перекинув за край стола, откуда я иногда озиралась и буднично что-нибудь спрашивала... Но вседозволенность была среди нас абсолютно не принята, и тем более в голову не приходило отбивать у друзей.

Юлька мучила его чисто по-бабьи, хотя и по-царски: усвоила вовремя, в отличие от меня, еврипидовское «не согрешишь – не покаешься». А я,

понятно, не умела еще целоваться, но теперь это стало бы лишним: Лев фактически был импотентом, а в остальном я придумала его сверху донизу, и витали мы в эмпиреях, никогда не спускаясь до быта. Многому я и училась: добывать энергию из платяного шкафа и неодушевленных предметов, засыпать «через нос», а медитировала я и так сама ежедневно, углубляясь в стихи. Тогда я не знала, что они – простые молитвы, регулярно физиологичные, чем совершенней – тем (критики!) произвольней.

Лев легко внушал мысли на расстоянии, усыплял меня через стенку, бесконтактным массажем снимал при мне опухоли и заживлял пациентам глубокие раны, как модный тогда Кашпировский, и ничего странного, что избранника я «полюбила навеки». Смущало отсутствие тяги, хотя низ живота все так же ломило, как прежде. Зато не было и тривиального – когда ждет чистоты, а сам втихаря развращает.

Все мы четверо были широко-глубоко образованы по доступным тем меркам, с рядом вузов за спинами, Саша – физик и лирик. Несмотря на мою наивность и несусветную дамскую глупость, мой диплом еще в юности преодолели перевести в диссертацию, но для меня был важен только талант от искусства. Потом догадалась, что всюду есть компенсация, – так, потрепыхавшись на месте, в веках соблюдается баланс добра-зла. Не везет мне в карты (мне-то везет, еще как)... Если пишешь, как «нужно» – тогда ты ущербна в реале, например, в том же спорте. Этот мячик из двух полушарий. Так билингвы ни одним языком не владеют по-настоящему глубоко, а поскольку по тринадцати сдавала и я госэкзамены, то пришлось в пути призадуматься. Языки легче всего даются проституткам с их поверхностным взглядом на жизнь. Как далекая параллель, – на глупой сцене живут дольше и ярче. Певицы, актрисы цветут прилюдно и в старости.

Генетический опыт работал, но, судя по истлевшим дневникам-письмам, предки были так же простосердечны, как и их жалкий последыш. Все во мне оставалось: так руки музыканта, молитвенника, сапожника помнят свои инструменты, землекоп – уверенно берется за черенок лопаты, фрейлина делает книксен, воин слышит предутренний шелест, а мать и отец... На этом свете ты всегда будешь пушечным мясом: на войне победителей нет. Растление вечной души страшней, чем смертного тела, но и притягательней. Одним – играть в куклы, а другим – в человечество. Для полководца я могла бы легко зарабатывать на революцию (как будущее и показало), но перестройка – была, а смену режима – проспали. И я постепенно начинала роптать, обращаясь мыслями к облаку: что еще подставить тебе для удара? Когда же ты там мной насытишься?

Лев сумел мне внушить, что на руках вынесет, если что, из горящего поезда: он был всесилен. Как мудрец и психолог, он знал свои слабости и рассчитал, чем меня привязать. Держался он холодно, но о чувствах пел, точнее, молился непрерывно и тихим голосом, и когда мне смертельно надоедала эта лишняя лесть, я себя утешала: запомни, потом пригодится. Приятно вспомнить, как в анекдоте... У Саган «поцелуи быстро выдыхаются», – но и образы сохранить невозможно, впрок не надышишься упоительным

перед грозой летним лугом, не наешься мокрого снега, не напишься с любимым мужчиной.

Я понимала, что Сашу судьба сворачивает зигзагом в мою близлежащую сторону: вот-вот наши пары разъедутся. Прощались-то навсегда, просто ушли в пропасть Казбека. Саша – русский, а я, четвертькровка, еще надеялась получить новый вызов и догнать Льва в эмиграции. Лева в этом был не уверен; его раздирали семья и «величайшее чувство». Было невыносимо смотреть, как он мучился и выбирал. Но, как у Зоценко, «только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом», а поезд уже чухал в выхлопах сажи и бил локотками-коленками.

В какой-то острый момент Лев тащил меня за руку – вместе выброситься с крыши высотного здания, а я, как могла, упиралась, вололась за ним вверх по ступеням и умоляя одуматься. В другой раз его родственники поставили мне условие: или я его «брошу», или они вызовут Льву санитаров и подпишут бумагу в психушку. Это было страшней, чем тюрьма. Спасая любовь, я ее предала. Отказалась. В этот абзац вмещены те же страсти на целый роман и всю отдельную жизнь, что были в роддоме на сохранении, когда Нодар прислал мне открытку... Но я обещала быть краткой, дать только канву.

На излете сил я смотрела в окошко на тучу, пронзенную солнечной стрелкой. Пришло отчетливо это странное, никогда больше не повторившееся чувство: я сейчас могла умереть, меня забирали на небо, оставалось только решиться. Меня туда приглашали исключительно добровольно; кто – я не знаю. От меня требовалось лишь согласие, но побыстрее, пока облако ждало, зависнув... Над экстрасенсами и астрологией я смеялась, как над гаданьем, – об этом не было речи. Но тут представила – струсила. Ведь тогда были главными дети, мое чувство ответственности, всепобеждающий долг.

Не скажу, чтобы с возрастом телесное мучительство трансформировалось полностью в метания души: «их было» всегда, изначально. Не могу припомнить своих *бездумных* поступков, а точнее, их предельного сдерживания без насилия над собой (никакого расчета!). Если б хоть кто-то обмолвился, что грех – жить не по чувствам. Ровно наоборот: априори считалось, что всеядность – это распушенность, и желаньям нельзя потакать, а уж физиологии, плоти – это даже не обсуждалось, так было низко и грязно. Бестелесных страданий я, должно быть, не знала, боль зашкаливала, измерялось всё силой воли. Я всегда плыла против течения. Наперекор себе, четко вслушавшись в совесть как основной камертон.

Как остаться Человеком в счастливой стране нашей юности, где запрещались бордели, Берия хапал женщин, тюрьмы забиты подростками, женские клиники – лесбиянками (о существовании которых я не подозревала аж до второй эмиграции, правда, мы слышали о статье за мужеложество), родители прячут тело отнюдь не по библии, и до брачной ночи ни слова не знаешь о близости? Что делать и кто виноват?

Друг перед другом стояли, с лютой ненавистью в глазах и сжав кулаки, партийный мой папа и отъезжающий Лев. Сражались они за меня. Отец полтора года не давал мне согласия, без которого не эмигрировать... И когда мы слевой вдвоем остались на той же питерской кухне, то он вынул из ящика

хлебный нож и опять «предложил умереть» весьма прозаическим способом. Я порезалась, ухватившись за лезвие, и ношу этот шрам. Как же страшно заглядывать в душу...

Юлька ехала раньше. Я уже понимала, что прямо с перрона ее бесхозный отныне Саша нагрянет ко мне. И куда ж ему больше, когда выход – только стреляться? Но уж если пытаешься выжить, то спасаешь себя всеми способами. Остается сесть на иглу... Все другое он пробовал.

Глава 2.

Самолетно-бульварный роман мой – простое пособие по психо... и физиологии: хорошо бы самой разобраться, как из Наташи Ростовской при соответствующих базисе и надстройке вырастает такая экзотика. Меня метало между Зеноном и Франциском Ассизским, и «один раз переспать» первого в итоге сливалось с оргазмом ради катарсиса и всеобщим любвеобильным охватом. Тем временем Лева был мной найден в уборной на кафеле без признаков жизни: он не мог разорваться между (Зеноном Ассизским, любовью и долгом, на выбор) и схлопотал свой первый инфаркт.

Я пишу о себе потому, что советовал Батлер; но всегда думала прежде всего о других, так меня и учили. Врожденный эгоизм, как атавизм, искоренялся жестоко, – ни малейших поблажек себе-нелюбимой. Я и во сне постоянно карабкаюсь в гору – бегу – не могу, задыхаюсь вконец – и не выдавить стога, не то что вопля. Так немногословность соседствует с мыслью и определяет качество прозы (кивок в сторону молодых: журналистики): только свое. Остальное все сказано, а повтор – плагиат. На рефрены нет времени.

Я попробовала впервые водку – на три четверти с лимонным соком, под руководством нашего поэта-учителя Лейкина – на отвальной Юльки, в тридцать три года. С пьяным Сашей мы танцевали, но он был откровенен в движениях пронзительно трезво. Все последующие наши танцы я качалась у него на руках где-то под потолком, мы бесконечно кружились, и мне не требовалось равновесия, за меня всегда думал он.

Один знакомый прозаик, спортивный тренер, воспринимал секс исключительно как гимнастику. Бывает и так. А подружка-Андрей старался почаще влюбляться – принудительно, для того чтобы было о чем писать. И подружка-Наташка подробно рассказывала, как их студенты-медики относятся к телу – что на цинковом ложе, что на обычном. Вот и я рвусь тебя, мужчину, понять, хотя бы от натурализма. Где-то там, где конденсируется время и куда заводит писательский инстинкт. По дороге перед оргазмом есть вспышка: «сейчас этим же самым занят весь мир». Приобщение к плоти – единственное, что меня соединяет с толпой, что во мне есть от соборности. Так было в газовых камерах... А до этого – жизнь, как на болоте, где не знаешь откуда донесся звук поднимающейся в гору глухой фуры, и под белым бесформенным солнцем теряешь ориентир. Чехов, Google, Тургенев.

Мы с Сашей строго сидели на скамейке в пушкинском парке, и он делал мне предложение. Отвести это было нельзя, моей слабой задачей было не причинить ему боли, отказать полушутливо... Подергать белый шелковый шарф, нагрести кленовых листьев и желудей под ботинки, зацепить за ветку его бархатную шляпу с полями...

Как только Юля уехала, Саша действительно заявился ко мне. Слегка напоив (не подействовало), я его уложила в своем домашнем халате. Мы за эти полгода совершенно срослись, фактически не разлучались, но я понятия не имела, что мы те две половинки. Просто рядом лежал и безмолвно рыдал близкий друг, попавший в беду, а меня в очередной раз оставил мой платонический Лев, расстояние в заочную бытность которого навсегда растворилось. А вот время еще не ушло. Меня мучили комплексы.

- Сашка, верны же умные волки, и лебеди женятся одноразово. А у меня сколько жизней? И ни одной еще не было. Как весна...

- Ну да, все ходят парами, слышал. А ты закрой глаза.

- Куда же мне столько памяти? Была бы слабой да беззащитной – как бы любил!

- Так мы все тебя обожаем. Ты упрямая, тебе нужно другое.

- Я по Лева скучаю непростительно, ничего с собой не поделать. Уважать себя не научилась. А как выживать-то нам?..

Не терплю в романах искусственное «он подумал», «она сказала». Но эта книга документальная и от себя не отвертись. Зная, что все, кто стремился со мною остаться и не быть тут же изгнанным, скрывали чувства и не смели всерьез о них заикнуться годами, я никак не ждала, что близлежащая и отчаявшаяся «подружка», с которой мы неразлучны, вдруг почувствует себя властной женщиной и сделает то, что и следует с такими самонадеянными идиотками. Под натиском устоять (лежа) было нельзя, но моему удивлению до сих пор нет предела.

Прошла пара дней, и Лева снова вернулся. Предлагаемый им уровень отношений – пусть придуманных, но высочайших, до которых мне только тянуться – привязал меня к нему накрепко. Для него это была сублимация, компенсировал он свою несостоятельность, как человек крайне слабый. Но мне-то казался сильнейшим, мной не превзойденным...

«Да не сбудется то, о чем я молю», гласит молитва. А мы и не знали, что нельзя завладеть друг другом, невозможно кого-то иметь, и что всегда остается зазор между душами, исчезая у тел.

Я играла стойкого оловянного солдатика и теперь не сдавалась. Ни напрокат, никак – ни тому (без надобности), ни другому. Саша пользовался моментом: когда мыла посуду, он подходил сзади и обнимал за мыльные локти, но держать нужно было покрепче, потому что со времен тренировок у меня выработалась реакция – бить приблизившегося в поддыхало. И все свои это знали. В лучшем случае Саше удавалось мимолетно поцеловать завиток на затылке, но пробовать было чревато. Впрочем, он был такой сдержанной силы – что, обняв, не задушил бы случайно котенка... Мы оба жили на взводе. Не буди змею, уснувшую понарошку. К тому же сладко пригретую...

А за кордоном у Юльки бушевала война. Сыпались ночью родимые скады, семьи прятались в бомбоубежищах, противогазы оказывались дырявы-ми и не пригнанными по размеру – всё как всегда. Днем на конвейере собирали шут знает что, Юлька воспитывала пацана от предыдущего брака и успокаивалась на бульваре «столичной» с каким-то старым бойцом. Но высочила чуть позже за молодого.

Сашка блистал по питерскому телевидению, сделал открытие на древнем кунсткамерном глобусе: в его сердцевине мы получили политубежище и глушили коньяк (я – понятно, вприглядку). Увлёкся и рейки, читал лекции пациентам астрологов, но еще не поставил себя на рекламном листке между Христом и Буддой...

Било током от автоматов – телефонных, разменных, но я о сексе не думала. Наоборот: в очередной уход Левы впервые унизилась так, что ползла за ним на коленках, цепляясь за брюки и обувь. Для меня рушился мир, хотя по частотности повторений я смутно уже догадалась, что «навсегда» не бывает, и что он завтра вернется, навидавшись с детьми.

Я теперь выглядела стабильно на десять лет младше (конечно, не красилась), так и осталось на годы. Училась жить виртуально, налегке, с пустою детской душонкой совершая астральные путешествия за тем же заоблачным Львом. Учитель всегда так вспоминал о Нодаре:

- У тебя любовь была, настоящая, ну и что теперь... этот?

Но каждый «этот» казался мне «навсегдашним», я ему отдавала все сердце и была верной, пока не оказывалась на руинах дутой посуды, сдаваемой стеклотары. Замкнутое пространство никуда не девалось: не капала в ладонях тишина, до помраченья бившаяся в висках, и неудобно, по Блоку, прибли-жались сумерки, я щелкала переключателем и «смотрела» сразу четыре телепрограммы с помехами (больше попросту не было). Катарсиса нас лишил режим, оргазма – соцуловия генерации, не то что в себе неуверенной, а насмерть придавленной «получкой» и водкой, а покаяние мы знали разве что по фильму Абуладзе. Может быть, за отсутствием состава преступления, ты и меня оправдаешь.

- Саш, Евшушенко опять написал мерзость обо всех своих женщинах... Неужели и я когда-то опущусь до такого реестра?

- Иди лучше ко мне, – он обнял возле кровати, я привычно выворачивалась, но вместе нам было так сладко!

- Ничего подобного, – отбивалась локтями, – мы сейчас с тобой едем в Павловск. Давно запланировано!



Саша прижимал нежно и сильно, никуда не пускал, и это лучшее, что он мог сделать с такой рахметовской дурой.

- Уже идем гулять. Сейчас сразу, пошли уже, видишь... – В той стоячей, одетой позе все это тянулось медово, мучительно час. Ехать мы опоздали, но воля возобладала. Будь она проклята, воля.

- Зенон умер, задержав дыхание. И ты туда же?..

- Сашка, отстань, ломит тело. Стоять не могу, – он брал меня на руки и убаюкивал, нося по квартире. – Во мне свет горит, пламя. Искрю. Пожалей ты меня... – Жалеть нужно было его. Как могла, я старалась.

На пределе желания, измучив друг друга, но не предав своих принципов... я ему говорила, не глядя в родные глаза:

- Давай помогу по-другому? Что для тебя, милый, сделать?..

Но он был гордым. Переводил все в шутку, включая самих нас, ведь мое слово – закон. Он пробовал уходить: как-то даже и я растревожилась; еще не созрела до аксиомы, что в сильной позиции тот, кто первый встает навстречу. Да мы и так абсолютно слились, спасали и дополняли друг друга... Сам он стихов не писал, но каждый день в ящике я находила послание на глянцевого бумаге, ювелирным Сашкиным почерком были выведены четверостишия. Я их складывала, не читая, и забрасывала на антресоли. Они и теперь там, в оставленной нами стране... Но я так и не знаю их авторства. Зато Левины письма-записки вызубривались наизусть, я помню там каждое пятнышко.

Набивалось по полсотни одаренных придурков в квартиру – читать опусы, пить табуретовку. Всегда было пусто и весело. Я гнала для них «руку Москвы» – надувалась резиновая перчатка на банке с прозрачной брагой, голова оставалась светлой, но ватные ноги не слушались. В рабочем виде мы не пропускали премьеры и вернисажи, всегда всё углубленно читали, вкалывали для себя наизнос и постоянно росли, но вот все никак не появлялся на горизонте тот единственный, которого я ждала и уже начала волноваться, почему он так опоздал. Вину я искала в себе, но еще не нашла. Отвлекалась писанием книг (одна была издана, и как раз за нее я содержалась в отказе), а в специнтернате и новооткрытом детдоме за мной числилось порядка трехсот ребятешек... Своих росло двое, и у Саши где-то в разводе – его драгоценная Лялька.

Отношение мамы к моим возлюбленным, когда изредка я была счастлива, не поменялось с годами: она их всех ненавидела. Зато стоило мне остаться одной и переживать от разлуки, как мама бросалась к постели умирающей: ей требовалось чувствовать свою нужность и роль примадонны. Этим все объяснялось. Женихи мои были достойны. Но не моей матери. И с другой стороны, ни один из них не был полностью тем, кого я по книгам ждала.

Гуляя с Сашей по мной нелюбимому, коричневому, то есть уже снова всюю фашиствовавшему в то время Питеру, я причесывалась ключом от квартиры, смотрясь в зеркало чужой припаркованной машины, но вроде всегда была в форме, что подтверждали провожавшие липкие взгляды и восхищение ближних. Как-то Сашка принес мне круглое зеркальце, раскрывавшееся на два. Мы все были нищими, но и цены – совсем никакие. Да и купить было нечего. Пахло новой блокадой, и уже двое знакомых отправи-

лись на тот свет по давно введенным талонам. Перестройка стреляла уже по своим, а мы были в первых рядах – даже на снимках в газетах.

Мне стало плохо всерьез, трясло от желания. Легко держаться «не пробую», но когда смаковал, на неведение не сошлешься и сдержаться – подвиг. Конечно же, есть и амебы, фригидные, импотенты, равнодушные, просто уставшие. Я все способы перебрала, спорт больше не помогал, на свечке руку держала, но боль только усиливала бушевавшую страсть. Она все заполонила, но выхода не находилось: нельзя идти против совести. И к черту политику, путч. Как сказал мой приятель, ученый-гинеколог:

- Глупая, ты же больна. Перестань над собой издеваться! Придешь ко мне на операцию. Давай пришлю тебе «лекаря»?.. У меня на отделении все забито соломенными вдовами моряков дальнего плавания. А ты-то что терпишь? Я никогда не встречал нетемпераментных поэтесс. Кончай валять дурака!

Мир, возможно, горел, а я извивалась на ладони у Сашки, прозрачна и призрачна. Точней, он не мог подойти, но все это видел и знал. Ему было не легче, но от меня он всегда мог «сходить по рукам». Отбою там не было. А я оставалась с собой и блюла верность Льву.

Как-то мы с Сашкой валялись и спорили, что его воля конечна. Я должна была победить.

- Сможешь лежать, как бревно? Но ты ж не железный!

- Я тебе обещаю. Даже не двинусь.

- Тогда гляди. Вот это и есть душа, изворачивающаяся, как тело в огне и сползающая кожей на кресте?.. Она уже исполосована.

- Можно не заговаривать боль, а принять и пробираться с ней вместе сквозь дебри, в беспамятство. Больше не скажу ни слова. – Он закрыл глаза и так замер, готов ко всему; но как же так, мне обязательно нужно было довести его до предела! Я вообще не проигрывала. У нас было пари. Если выдержит, значит, не любит?!

Я снимала с Сашки одежды, одну за другой. Сначала я слышу, а потом уже вижу: отдаленный водопад – и вот ближние комары, то есть местный слух пробуждается вслед за вселенским. Это профессиональное литературное зрение, непрерывная внутренняя работа, попытка выскочить из лабиринта. Мы и общаемся на родном птичьем языке, подобном началу прозы:

- А так нет.

- И у меня нет...

То есть мы таких оба не знаем. У меня и дыхание поверхностное, со сбоями, потому что я слушаю музыку, существуя в такт слова. Остается довозвести атомный гриб на ножке, как на картинке: с пьедесталом в романе я справилась, хотя он сделан из спичек, и взялась теперь за основание. Оно-то не рухнет. Так бралась и за Сашку, но взрыва не следовало. Я сделала совершенно все, насчет чего вообще была в курсе, кроме самого главного, но он не отреагировал и обоих нас победил, переняв эстафету. Не бьет – означает «не любит», обманывала ромашка.

Я смоталась в Нью-Йорк вести мастер-класс, затем в гости в Израиль, но уже устроившийся там и вызвавший меня Лева испугался накануне прилета и

даже не встретил. Горизонт мой слегка расширился. Вот он уже вышел из комнаты.

Никакой распушенности во мне не было: просто Лева прощался совсем, а завтра жизнь с ним начиналась с новой страницы. Не то что я не ждала этого скорого «завтра», – но не всякая психика выдержит, даже непробивная. Да и было понятно по многократным предательствам, что творится что-то неладное.

Наконец мы с детьми эмигрировали. Саша слал телеграммы, стоившие состояние, но злившие меня и пугавшие: раз уж «молния» – вдруг умер кто-то из близких?! По несусветной жаре я бежала на почту в трусиках-шортах. Бланки были красивые, праздничные. Проглядывала их и мяла: мне все это было некстати. Я старалась быть слевой, мы жили в караване в пустыне, среди ежей, ракушек и верблюжьих колючек. Считалось, семьей.

Как планировалось, вскоре, осенью я вернулась коротко в Питер – закончить дела. Было время первого снега. В Ленинграде он совершенно бесшумный, опускает на мир немоту, и я себя часто щипала в испуге, что эмиграция мне приснилась, а я тут так и живу. Но снегопад был волшебен, он останавливал время и все сводил к нам самим. Невесомые звездочки с одухотворенной отрешенностью летели в нетронутые сугробы, такие обычно бывают на непосещаемом кладбище, но город зажигал сквозь снежные легкие завихрения сумеречный туман, создавал уют дома и праздника.

Мы спрятались здесь, и у нас была только ночь. Единственная в моей затянувшейся жизни – раскрепощенная, гармоничная, по-человечески счастливая, хотя мы вздрагивали при каждом телефонном звонке или стуке; нельзя ж было нам рассекретиться – не только из-за псевдо-морали, но и боялись впустить чужих в свою робкую жизнь. Перед сном позвонил в дверь отец. Мы притворились «в гостях»... Как испуганным школьникам, нам пришлось добежать до подружки и от нее звонить папе: мол, задержалась, вернусь, не беспокойтесь, до завтра; передаю трубку Тане... Кому сказать!

Мы, два взрослых независимых человека в стране цепей и рабов, не ведали, что происходит. Мы были одним, но нас сдерживали сословия, предрассудки, мнение мамы. Многократно уже обсуждали Сашин приезд с оставаньем, грозивший мне лишним бытом, – ведь я выживала, с детьми, по документам «не еврейка, не верующая». Но мы точно в ту ночь любили друг друга, и этот жаркий свет сводил на нет все проблемы, сбивал с ног и не оставлял ни капли рассудка. Нам не нужно было не только произносить пустое и мудрое, но ни к чему было двигаться: так научатся в будущем давно забытому – передавать мысли и чувства без прочих помех, напрямую. Гармония была все заполнившей, до утра – бесконечной. Нечестно было продолжать ей противостоять, и я Саше робко сказала:

- Наверное, я все-таки тебя люблю по-настоящему.

Мы же прежде считались со словом, а такое можно было обронить – нас учили – раз в жизни... Вот у меня и была эта жизнь – всего одну ночь и раз. А если случайно обманешь? Показалось, что любишь, а потом должна отвечать! Ведь он же надеется. А я почти сомневаюсь...

Это лишь внешне я не ходила, а шествовала, почти не касаясь земли. Не подпрыгивала, а устремлялась вверх, так как в отрочестве специально училась не размахивать непослушными длинными, как мне казалось, руками и о походе не думать. Но какая же битва шла внутренне...

Саша был спокойней, уверенней; собирался, как его дед, жить долго, размеренно, любил навсегда – и давно уж осознанно. Абсолютно не сомневался, что мы обязательно, при любых условиях будем с ним вместе. И я уже понимала, что где-то через полгодика перетащу его через границу (тогда это казалось невысказанным, но в быту я двигала горы).

Я училась Израилю, тяжело ностальгировала не по родине (было б смешно), но по среднерусской природе – березкам и даже ольхе в красных клещах-бородавках, по строгому питерскому акценту – вместо сладкого жаркого. Снег ненавижу, и мерзла по памяти, но уже отогрелась душой. Мы с репатриантами аппетитно лопали засахаренную чернобыльскую сгущенку со страшной кликухой варенка, охотились за гречкой в не открытых еще сплошь и рядом «русски» магазинах (юный директор одного из них сурово за мной приударит), мне снился маринованный зеленый чеснок (на даче, закатывая, называли его черемшой), и даже собака здесь грызла косточку не простую, – с мороженым. Страна нас спасала.

Я резко затормозила свою новую «мицубиси», высаживая Льва из машины. Пыль долго клубилась за нами, и в ее душном облаке на сей раз Лев стоял на коленях, умоляя его «простить в последний раз и начать все с начала». Я была плохой ученицей, но воспитывалась семью годами предательства и хоть что-то усвоила. Чары кончились. Он был мне больше не нужен. При ближайшем рассмотрении он оказался жалким, растоптанным, слабым. Как же я этого не видела?..

Все мужчины в Израиле ежегодно служат по месяцу в армии. Как-то дверь в мой аспирантский асбестовый домик открылась, Лев пришел в форме и с «узи». Он показал прощальную записку, собираясь покончить с собой. Я знала, что он это сделает: даже слабые, загнанные в тупик, бывают жестко последовательны. К тому времени я уже долгие годы работала с сумасшедшими разных мастей. Да сам Лева, профессионал высокого класса, в России меня и учил. Но роли менялись. Я знала, как успокаивать, соглашаясь на все и во всем, возвращая к реальности.

Лева решил передумать – самому не стреляться. Теперь я была его целью. Несколько часов просидела под дулом «узи», глядя обоим в глаза. Их взгляд был железным и черным. Хватило б одной оговорки, и была бы я на том свете. Я не знала, что он уже здесь.

Израиль – благодатная почва для антисемитизма. Не случайно половина моих незрелых учеников подалась там в фашисты. Любимый, как слепо верила, мной человек оказался лучшим отцом, и по этой национальной причине произдевался над нами. Я вижу четкий закон, почему русский писатель, причем из самых достойных (навскидку – Гоголь, Достоевский... Пьецух) не напишет романа о русской жизни-душе, не будучи антисемитом. И они не застали, как мы, превращения капстраны в совковый придаток! Но о шпионской сети говорить тут не место. Народ Израиля – гордый и мудрый, и

мой русский в остатке – талантливый, рабский да глупый. Уничтоженный на корню.

Я написала и переправила маме для Саши пьесу, из которой он сразу бы понял, что мы будем вместе, вот-вот. По стержности, ревности мама, привычавшая дома Сашку, прибывавшего в мое отсутствие гвозди и вешавшего зеркала, не отдала ему рукопись. Пару месяцев он перекапывался на Пряжке.

А в мае по телефону мама мне между делом сказала:

- Умер один твой знакомый.

- Кто?.. (Я назвала имя поэта, женившегося в нашей юности по расчету на профессорской дочке: как-то первым пришел он мне в голову).

- Нет, приготовься... Говорят, утонул Саша. Вчера его похоронили.

Часть 4. На том свете.

Глава 1.

Вот оно, бордовое двусторчатое зеркальце. Пар в него не надыхать. Это все, что осталось от нас обоих. Пепел. И вот так я училась жить без тебя, – за двоих я зеркальна. Так в себе задушила любовь (замри, не вылезай!) и жизнь в процессе: мне она ни к чему, но всё тлеет.

Вот как жил, оказывается, бесписьменный человек, например, Христос, изнутри раздираем молчанием и глухотой – снаружи. Все, что можно, – только по памяти. В пустом сквере лечь на скамейку, к тебе головой, и так устроиться, уткнувшись в твои колени и в реалии Питера. И заснуть, если позволят. Перестать ловить тебя в каждом прохожем, в удаляющемся вагоне.

На страницах я имитирую жизнь, а положено – воссоздавать. На голом образе без музыки, краски, мысли не ускачешь, как на помеле. На могилу я ездила, речку ту видела, выпила. Так и болтаюсь пятнадцать лет на крюке под мостом, где Саша наконец зацепился трусами и «плыл» десять дней, *которые потрясли мир*. Говорить об этом бессмысленно. Саша плавал прекрасно, и даже в оттепель, третьего или четвертого мая (никто толком не знает), когда он обычно открывал купальный сезон, помешать ничто не могло. Говорили, что сердце. И могло свести ногу. Насколько я его чувствую, а проникновенней нельзя, – это самоубийство. Утверждали и так. И забыли.

Сашка раньше просил посвятить ему стихотворение. Мне как-то было все некогда. Теперь для него написано собрание сочинений в девяти томах с переводом на европейский и птичий, – вот и сейчас обращаюсь. Как ты живешь, мой хороший?..

Остальное мне безразлично, я потому и пишу. Наврут с три короба критики, так уж лучше раздеться самой, без несвойственного эксгибиционизма и выворачивания рук. И тут правда вступает в конфликт.

Кое-как удалось мне физически выжить. В отрыве от Левы. От него можно было избавиться только «клин клином», и я приняла эту помощь. Но не рассчитала силенок и вспыхнувшей, чисто поверхностной страсти: мой

спаситель, о котором ни слова, чтобы тут его не запачкать, пришел с чемоданом и у нас поселился. По большой, невзаимной – к несчастью – любви... Мы опять не совпали во времени, да и стояли на кладбище.

Меня поражали две вещи. Что весь свет населен, независимо от прожиточного минимума пригодных условий – и что в нашем призрачном Питере всё точно так же, как было: и всегда, в этот миг, и уже почти после нас.

Откуда же их столько, судеб? Так долго и не живут... Почему не ушла вслед за Сашей? Привезя в Израиль под взрывы своих малышей, я за них отвечала. Я обязана выжить, и тут-то меня «понесло». Вот почему я дощелкала скользкий диссер по розовой голубизне в поэзии Набокова (которой у него нет), открыла свой институт в четырех (трех в реальности) городах на четыре сотни студентов, создала, вместо ленивого и равнодушного к нам правительства, сотню рабочих мест и вошла в десятку «умнейших» Израиля, что было совсем уж смешно... Меня посадили, как в клетку, на сцене между главным раввином и кем-то таким христианским... Вопиющая моя наивность не простиралась дальше постели, а мы здесь договорились касаться лишь простыни. Но вряд ли кто знает, что делала я в Израиле, по ночам мотаясь в чадре в Бейрут. Пройдя там отличную школу и всегда работая исключительно на себя, я с унынием смотрела *post factum* на кавказских политиков: ведь я там жила интересней.

Продав дом в пустыне, я купила большую квартиру в Иерусалиме, и теперь еще сложнее стало избавляться от непрошенных кавалеров. Среди них был марокканец-танкист очень низкого роста (сообразно профессии), а израильские вояки – это отдельная песня, и я всегда вспоминаю мопассановскую героиню – не ту, что всю армию сознательно заражала сифилисом, а вообще ту этическую проблему, как должна настоящая женщина помочь мужчинам на фронте. В Израиле одинокой прожить очень трудно, при молодости и красоте.

Лет пять обхаживавший меня профессор, погубивший еще до нашей репатриации Анатолия Якобсона, взвился перед защитой и не давал мне прохода. Защищаться мне не было смысла: я сама стала ректором. Но под дверью караулили днем и ночью арабы и русские. Первые были умней и хитрей, но я умудрялась выкручиваться. Сложно было и с учениками: если в любом питерском ЛИТО на десять пишущих приходилось шесть нездоровых, то эмиграция изменила пропорции: психов и суицидников по моей шестилетней статистике было обычно все девять.

Я последовательно ненавидела совковый режим кГБ (достаточно мамы в ментовке и папы в горисполкоме, таков семейный позор), но тут сдружилась с одним коммунистом, настолько общеизвестным, что имя его выпускаю. Не нуждаясь в деньгах и связях, ценя только талант и выискивая по привычке – свою любовь и чужое внимание, я старалась быть занятой суетой, чтобы не отвлекаться на мысли. Они навсегда стали горькими, я гложла-слепла от этой полыни и хины. Задача моя была – выжить. Лучше броситься во все тяжкие, но этого я не умела. Зато благодаря какому-то женскому повороту, стала тянуться к чудовищам. По «Аленькому цветочку», колыбельной для Фрейда.

Таким был мой новый избранник (они по-прежнему все были разовы и с интервалами в годы), и кgb безусловно снимало на пленку наши встречи на охраняемых виллах. Кавалер только что похудел на сорок шесть килограммов, но вес его был запредельным, складки розовы и отвратны, выбривали их парикмахеры, и мерзость меня привлекала. Он глубоко мне сочувствовал, но просыхал очень редко. Вот теперь-то и я встала на стезю Сюзи (попробуй произнеси): чем хуже, тем лучше. Умный, добрый и старый, он все понял верно.

Моя деятельность разрасталась. В противостоянье беде. Наивность рассеивалась и брезжила, но цинизм обошел стороной. Зато я держала в уме, что на женщину спорят – на деньги и на мужской интерес, – как споро и скоро разденут. И что «любят» из-за жилья, как однажды сказал мне Володя, искалечивший Лешину жизнь: он ютился в комнатке с братом... Я уже поняла, что можно ласкать одну, а мечтать о другой, которую над чужим хрупким плечом лелеешь и прозреваешь (часто этой была я сама), созерцая при том совсем уж дивные дали. Меня стали любить старики, очень чуткие к возрасту, но мужчины и вообще «слышат» сперму на сучке и увиваются хором. Потом любить будут мальчишки... Я постигла в совершенстве школу, как не обидеть отказом и не довести до выяснения отношений, а когда предлагали, чуть прищурившись смотрела – и заранее видела... До последнего, нынешнего периода не унижалась до мысленного раздевания уличного самца, но воображения хватало на все: не обязательно было «переспать с тобой», чтобы знать, мой Раскольников. Ведь нет главного: чувства.

Заигрывать со смертью приедается, как все другое. Адреналин бил ключом. Угнетала и местечковость, восточные липкость и шум; постоянно скользить неохота. Всегда скромно-трусливая на людях, полтора года я не знала, как справиться с орущими при открытых дверях религиозными соседями-тунисками, а воспитание запрещало неинтеллигентные средства. Обстоятельства нас оттачивают, как гальку, и я нашла способ, появившись в проеме в плавках и на каблуках. С тех пор дверь не открывалась... Где же тут хулиганство? Его нет в помине. Я боролась за жизнь, свою и детей.

Изнасилованная девочка, пытавшаяся покончить с собой и не видевшая иного решения, на глазах становится опытной проституткой, причем не за деньги (у слова более жесткий оттенок). Это ли не сюжет... Заиграв пластинку, я рвалась к авантюре, но не адыюльтеру, и расширяла пространство.

Мои дети были в терактах, пора их увозить из запасной советской республики, где мы – пушечное мясо в чужой сваре за капитал. Я слетала на разведку в Голландию, потому что там жил и все годы писал мне Андрей, чьи чудовищные мослы с возрастом лишь окрепли, но почему-то перестали вызывать во мне то стойкое отвращение, что нам мешало, пока была я кретинкой. Я стала ценить хоть какое-то общее прошлое. Кто-то знал, как меня звали в детстве...

В примечаниях к стихам (реверанс совершенно не понявшим его местным филологом) Бродский фантазировал: «Голландия – замечательная страна, и я

думаю, что там можно было бы жить. Если б 21 год тому назад, когда я покинул пределы возлюбленного отечества, у меня хватило бы ума, или воображения, или знания, чтобы осесть там, я был бы, наверное, более уравновешенным и, может быть, более здоровым человеком. Хотя никакой гарантии нет, все одни догадки». Здоровым бы точно не был... Остальное – можно попробовать!

Вот я и решилась. Амстердам оказался даже изящней Венеции, а по миру-то я покаталась. Бытовая помощь нигде была не нужна, но от общения и тепла я слишком зависима, тянулась к родному, далекому. Я не знала, что все это призрачно, та река утекла, и жизнь всегда бьет рикошетом. Когда-то женившийся из-за моего отказа на нашей подруге, но десятилетия бывший рядом со мною Андрей, по натуре прохладный и жадный, а все-таки свой, теперь испугался проблем и разрыва во времени: поезда опять не летали, несоответствие эпох тыкало в меня кривым, кровавым указующим пальцем. Все правильно: заслужила. Не разглядела?.. Но нет! Как раз была прозорливей.

Впервые увидев, что кому-то я не нужна (издевалась-то десятилетия, точнее, сладко пыталась, отторгая садизм и нимало не злопыхая), я эмигрировала и вторично – самостоятельно, получила офис в университете для открытия института подобно израильскому – и познакомилась с Йосом. Неслиянная разность языков и культур привнесла интерес в отношения, а главное, я искала тепла в человеке – и думала, что нашла. В реальности меркантильный, как все голландцы; на семнадцать лет меня старше, с чувством юмора – казалось, добрейший – толстяк Йос не знал моего аскетизма и не хвастался миллионом, а что мог, то заранее вынес из дома – от моих неизвестных соблазнов. И был бы в общем случае прав.

Де Сад оставил нам запутанное наследство, разобрать его – жизнь угробить. На четвертый день болтовни (бла-бла-бла по-голландски) мне стало понятно, что я остановилась на Йосе, а ему понадобилось целых полгода; и еще год я не понимала, насколько он нездоров.

Когда-то простая, тучная, невзрачная малярша в послеродовой палате преподавала мне урок. Малышей у нее было четверо, а на окне вис любовник, скуля от любви. Так я узнала, что и стайка детей – не помеха, и что одной не остаться. Нечего трусить. А то нас, разведенков, стращали «в школе и дома».

Может быть, она знала особый народный рецепт. Меня тогда волновала собственная непосвященность в эротику, и я спрашивала возлюбленных, что бы им больше... пришлось: интернета и руководства к действию в России еще не придумали. Сын недавнего президента как-то привез моей маме ксерокопию западной книжки, и приходящие гости ее читали ночами, не вынося за порог. Мне там листать было нечего: я не ведала ни черно-белых слепых картинок, ни терминов. А любовники скромно молчали во все времена, они были счастливы и тем разовым не-беспределом. В отличие от меня: нимфомании нет и не было, секса – тоже, как в нашей много-страдальной стране, а гармонично развитой личности, способной затмить все на свете, как полагается мужу, я искала – не встретила. Очаровываясь людьми, не могла оставаться слепой.

Блаженны те, кого устраивает случка на овощебазе поверх ящиков с гнильем и мешков с наворованным. Удачливы те, кого кормят баснями в театрах на бис и просто – сходяв налево. Кто самодостаточен и отделяется во сне поллюцией, пока она орошает бисером слез его жилетку и наволочку. Кто удовольствовался умом – без души, или сердцем – без третьей извилины. Кого купили за джинсы. Но мне-то нужно было все сразу (кроме взяток, подарков), ведь я и сама обладала минимальным физическим и духовным прожиточным минимумом, так почему же должна была молиться на всех тех ущербных?..

Наплевав на себя и решившись дожидаться скорой смерти, помогая посылно выкарабкиваться другим, я оказалась с большим старым Йосом, а для крепости мы обвенчались. Все было чин чинном. Я жила взаперти, чтобы не тревожить милого пустыми сомнениями, но для разнообразия выбирались мы за границу, как-то минуя Голландию. Я «объездила мир в заточении», и все это тоже правда, а в свободное время писала книжки и служила вполне добровольной рабыней: а что мне еще оставалось, жене по сопровождению?

Эмиграция – новая жизнь, у меня уже третья. Зеленые попугаи через окно, дрессированная цапля вместо покойного Нэда, – да о чем речь, я забыла даже свое имя: здесь его некому произносить. Весь мой русский (так как офис в университете пришлось бросить скоропостижно) – перевод брошюрок от Скала: так музыкально называется всемирный сбыт порнопродукции. Я преуспела в науке вибраторов всех мастей, поколений, полов: по-русски должно звучать грамотно, я же филолог.

Живое общение было редким и характерным. Йос открыл еще до моей эры брачное бюро и привечал проституток. Письма слали и из России: время было голодное. Одну питерскую, по письмам душевную женщину я пожалела и нашла жениха. Мы встретились в аэропорту, где она деловито сказала:

- Значит, так. Я валютная б..., катаюсь по миру и ловлю таких лохов. Зарабатываю – возвращаюсь. А теперь ближе к телу.

Чтоб избавиться от Светланы, мы ее наспех пристроили. Через пару часов она позвонила в истерике: ей там показали вибраторы... Без экскурсии в красный квартал, где на каждом шагу магазины с вопиющим товаром, а витрины – толковый учебник. Мастер-классы в моих прежних университетах – ничто по сравнению с этой новейшей тематикой. Краснеть-бледнеть я не разучилась, но практика в Скала сработала... Так жила моя третья родина. Одиннадцать лет – за стеклом.

Глава 2.

Йос нас выгнал с детьми в декабре, как раз подморозило. Катки Брейгеля заливаются раз в шесть лет, но я никогда еще не бомжевала, зимой и с ребятами. Ночь в гостинице стоила столик, мне надолго бы не хватило: эмигрировав, я отдала Йосу и паспорт, и деньги (ведь привезла состояние). Сердобольная жадная – местное словосочетание слишком правдиво – русская

приютила нас в своем роскошном замке снежной королевы, где мы полуголодными спали в пальтишках и в инее.

Я Йосу в отчаянии позвонила (всё ж не подружке-Андрюшке). Он сознательно оставил включенным мобильник, чтоб я невольно услышала сцену секса на нашей бывшей кровати... Я-то думала, он со мной «навсегда», этот мой вечный суженый.

Через пару недель он вернул нас обратно в дом, который теперь никогда бы не смог стать своим. Я, как только болела и бредила, всегда думала, что нас опять выгоняют. Палач влюбляется в жертву – ты это знаешь. Но униженный освобождается первым и оплывшим от пыток лицом поворачивается на солнце, на которое он еще не может смотреть... Только я-то не мазохистка, а обыкновенная женщина. Как сочетаться со слабостью и подчиненностью? Как втиснуться в рамки, поставленные нам природой? Мне интересен сильнейший, я хочу за мужчиной тянуться. Где ж эта граница?..

Если б не Йос, то секса я б так и не знала. Это в России мальчики действуют методом тыка, а то и бездействуют. Но и там же на родине существует бабья частушка:

*Ой, какой сегодня месяц,
Какое сияние,
Я сегодня как-нибудь,
А завтра на свидание.*

Образ жизни, а не нимфомания. У совхозниц в Карелии было принято подолом расплачиваться прямо в поле за вспаханное под картошку. А соседа по хутору я заставляла в овине, зажавшим овцу, когда жена не давала. Скажете – так он мужик... А что делали дамы? Не в российской глубинке, где трезвым не встретишь даже ребенка?

По западному телевидению показывали голландку, она легко говорила подружке, чтоб та не звонила шестнадцать часов, так как меньше с вибратором не получается, а отвлекаться не хочется. Свет-зеркальце здесь показывало уже не то. Шли помехи в изображении. Первый год мы с Йосом вообще не вставали с кровати, шестнадцать часов – почему-то действительно норма. Но я буду краткой и сдержанной. Можно сказать – *всего* год. Так как десять последующих я провела в одиночестве, не целуясь и с отражением. Кто из вас, положа руку на сердце, десять лучших лет своей зрелости, после бурных страстей, был целомудрен и верен?..

За это время, состоявшее из пустопорожних дней и ночей, часов и минут, мелькнул Сашин друг, но мы это уже проходили. Все повторялось в жизни и закружлялась, издевалась она по спирали. Выбывала почва и закидывала вопросами, намекая на то, что где-то даются ответы – не Полиной Виардо и даже не Софьей Андреевной, и разве что на том свете. Но я на нем и жила. Как-то насквозь, лишь слегка провисала стеклянная нитка энергии, натянутой между мною и Сашей. Почему-то я стала побаиваться еженощных наших секундных контактов, входя в темную ванную и отвинчивая вентиль крана, из которого шла струя. Что он связан с водой – очевидно, хотя и морская волна

берет женщину, как любимый. Психику я проверяла, и со мной, как ни странно, все еще было в порядке. Просто с Сашей я не расставалась, а жила за двоих, как бы более полноценно – насколько это давалось. Совершенно реально, без мистики и привидений. Поскольку я в них не верю.

Не так давно я была на концерте у известного пианиста. Он рассказывал, что медленно выздоравливает, но после воспаления ушного нерва еще не слышит наложения высоких и низких тонов. Он играет вглухую, и эта несогласованность правой и левой рук (которая приведет в его случае, конечно, к инсульту) напомнила мне нас обоих.

За десять лет заточения мне также встретился человек, с которым мог быть роман – да не случилось. Не ссучилось. Я размышляла над этим под особым немецким углом... Людоедство по Эйхману. Попробую пояснить, себе и ему. Больше всего его привлекал натурализм – отправления, извращения, некий садизм тонко чувствующего и уставшего – пресыщенного всем внешним. Как и я, он искал. Перелопачивая и отвергая отработанный прах, – висших на шее девиц, и сначала с ним было легко, даже дружно, но отсутствие допинга неизменно влекло расхождение. Я уже это все наблюдала: «человек с чемоданом» когда-то в больнице кололся, подсел на наркотики и закуривал их алкогolem, запивая мрачной любовью. И здесь было то же. Мне хотелось понять это глубже. Ведь от того, кто в Израиле – меня любившего по-настоящему – приходилось спасаться с детьми под столом, когда мы, затаившись, дрожали и ждали, будет ли взломана дверь. И все это зависело от единственной капли спиртного. Это видела я и с Нодаром: тихий алкоголизм, официально пусть даже в анамнезе.

Самолет пролетал над Гренландией, острая голубизна в полотне снега пронзала землю насквозь, наст казался мне расцарапанным. Темнела вода, а где-то мерещились и медведи, задравшие скользкие морды. Мысленно я общалась с моим товарищем, продумывая рассказ, заброшенный позже на годы:

- Та, что встретится поумней, поймет: заполучить твой поцелуй можно только через твои же беспокойные некрофилию и садизм.

Предположим, он отвечал, не соприкасаясь коленями... А нет, не пойдет, все с начала.

Он не мог отвязаться от Дианки, пройдя с ней нечто такое запретное и недоизведенное, что и муж мой, художник, перед разводом. Он давил колёсами лис, пугая любовницу кровью на *Лобовом*, и ждал нетривиальной реакции, заноса над кюветом машину. По идее, ему должно было хотеться заправлять в женщину змей, если этим он не пресытился. Возможно, кто-то ставил раньше условие: без порнофильмов, ротвейлеров, видеокамер - и не кончать в рот. Жестко оговаривались рамки жизни – бисер для взрослых.

Наслаждение – двигатель мира, и неудовлетворенная физиология значительно опасней, чем привыкли мы помнить.

- Как там евреям в Германии? Не понимаю. В Амстердам оттуда доносится дым. Я стараюсь к вам не кататься. Да хоть Эйхман, к примеру: убийство шести миллионов иудеев фактически только за то, что в детстве дразнили

еврейчиком. Скрытые комплексы и неудовлетворенные страсти все равно прорывают плотину... то есть плоть.

- Не наивно считать, будто все подчиняется темпераменту, сексу?

- Прямая зависимость. И периодичность во всем. Без баланса (точней, перекачивания на грани – туда-сюда) инь и ян не напишешь ни строчки, ни ноты. Давай иметь в виду максимальную, зашкаливающую степень наслаждения, когда уже безразлично, заглянет ли вдруг кто-то в комнату. Когда страсть всеобъемлюща и не сдерживаема никакой силой воли. Пока мыслители недооценивают роль наслаждения в жизни, а технари не просчитали пути удовлетворения, будут детские бордели, домашнее насилие, пытки. Это корень всего, оргазм власти.

- Ты считаешь – что два сильных человека понимают, что иначе им не испытать катарсис? – Он выбрал коньяк и согрел стакан в пальцах, слегка взбалтывая по кругу.

Ее условие было – что ее саму не разлюбят. После пройденного предстоящего. Облака лежали на снегу под крылом, разделенные только тенью. Она засмеялась, вспомнив, как в аэропорту при сдаче багажа раздался зуммер зубной электрощетки, а все решили, что бомбы. Мало кто знал, что пластиковая бомба легко наклеивается на конверт вместо марки... В этот раз повезло.

- А вдруг за ужимками твоей Дианки стоят, как обычно за всем, простые слова? «Хочу, чтобы ты обнял. Но мне этого мало. При таких серьезных, глубоких чувствах, которые брезжут, просто переспать – это ноль. Бог создал нас для грязи, чтобы через нее обратились мы к свету». И так далее, сам допоян. Не так уж она примитивна.

Дианка маленькая, небось хрупкая, а он выше на полторы головы, и запах табака заставляет закашляться до слез: она, возможно, скрывает смущение. Интересно подглядывать. Впрочем, облака отражаются в озерах, поразительный вид с борта самолета. Когда еще повторится!

Так неспешно льется беседа. Как обычно в постели. Он прошел все – и она, условно, разведчица. Он еврей в Германии, у него тяга к дохлым кошкам Марка Твена, физике и всему ей ненавистному и непонятному, – а все ж два талантливый человека ближе к концу жизни столкнулись лбами и вынуждены пооглядеться. В недрах языка живут, неповторимого: доносящийся сюда жаргон пахнет уже напоследок, тягуче и сладко, как медуница перед дождем. Аромат тления.

У обывателей разгорается страсть к чужой беде. Бегут, заголившись, на пожар, аварию, драку. Милое дело, когда чужую супругу или соседского парня оттягивают, – смесь любопытства и крошечных сил Эйхмана. А у ее собеседника от другой страсти сел голос. Тянет общее прошлое, пусть пройденное параллельно, тень от тела ведь не отставала:

- И что это меня из Иерусалима так магнитили березки?.. «Нет ничего печальнее, чем природа в окрестностях Петербурга», де Кюстин говорил.

- Черемуха пахнет кошачьей мочой. Классика: она стояла, вся обметена снегом летящей черемухи. Улыбаясь жантильно.

- Ну да, а во рту японца – вкус сои с кунжутом... Он приходит ко мне только ночью, когда ревматически отупеет тело. Взлетает надо мной, подтягиваясь на вытянутых руках, и я никогда не различаю его лица или торса... Вот такая исповедальность. Тема греха и грязи, данной нам свыше.

- Трудоголику вообще сложнее умирать. Его тут держит, – он прочел надпись «пристегните привязные ремни» и расчехлился совсем. Она отвернулась: привыкла.

- Только жизнь прожив, поняла, как легко себя разбудить: достаточно во сне подумать о деле. Дать себе установку. К вопросу о силе воли.

- Ага, идеяка: соединить клавиатуру органолы и киборд по принципу чередования гласных-согласных. И построения аккорда, через ноту.

...Мы успокоились с Йосом, когда его мужское время иссякло. Он просто дальше не мог, а я и подавно. Через год скоростного брака я замирала при виде свечи, так как знала наощупь, как она жжет, поднимаясь от коленок все выше, и как внутренняя часть бедер розовеет и пламенеет от воска, но крикнуть не можешь из-за литого скотча на губах, которым заклеили нас еще в детском саду... Руки накрепко были переплетены веревками и ремнями, а спина выгибалась от звука хлыста, – не той классической конской плетки, и не ветки сирени-черемухи, нет, – милицейский жезл, легко проникающий в тело поочередно с любой стороны, дымился от крови и пота. Неточна родимая поговорка – лежачего не бьют... А как же та девочка в чаще?

Я испугалась реалий и спрашивала приятельницу-лесбиянку, что тут норма, что нет. Мое отсталое прошлое, общерусское ханжество? Чисто низменная, нидерландская непосредственность?.. Мы сидели в набитом трамвае. Почесав в задумчивости язык, бывалый голландец, по прикидке – на явной стадии СПИДА, кожа да кости, разглагольствовал о любви с юным туристом. Говорили они по-английски, то есть общедоступно для публики, оба веселы – и в подпитии или наколоты. Заменитель героина таким дают тут бесплатно...

- Я люблю женщин!

- Я знаю, я тоже.

- А ты сидел в тюрьме?

- Да, приходилось.

- И я три с половиной года, три раза.

- Тебе за что дали?

- За воровство. Я люблю женщин!

Выходили мы вместе, на площади Дам. Это слово обратно не так переводится... Страна сугубо гомо-лесбийская, и я бы наверняка воспользовалась перевесом – да судьба берегла. Накувыркавшись с героями драм, я бы с горя доверилась старшей подруге, мифической, – так когда-то я думала: если врач – *то он обо мне по-чеховски будет заботиться*... Менять закашлянный кровью платочек. И еще как заботился. О своих собственных детях, тот доктор, нося цветы запоздалые. И все же годами, когда мне беспросветно влачилося и давило чувство ответственности, я перед сном грезила этим белым халатом.

Предлагалось на выбор на каждом столбике-амстердамчике в форме бордового жезла: ты кем приходишься? – Он ей вибратор, а она ему нежный друг. Как объяснить подрастающим детям, что это не норма, если любое окно напротив засижено законными семьями педерастов и лесбий?

А по поводу деток – отец моего Сан Саныча смаковал ситуацию:

- Неужели ты думаешь, что если б я вел машину, а дорогу перебегал чужой шкет лет трех, и был бы выбор, кому спастись, то я бы затормозил?! С какой такой стати?

Часть 5. Чтобы не повторилось.

Глава 1.

Уйти от Йоса было нельзя. Причина знакомая: то он обещал уничтожить меня и детей, то покончить с собой, на случай запасшись таблетками, а то просто старел грозвыми порывами, загоняя сердце и голову. Такого не бросишь. Ты замечал ли, что машинально мы повторяем за собеседником его оговорки, неправильное ударение, лишь бы его не смущать?..

Мерно чавкал компьютер, фиксируя сделку с совестью (она – безделка; но честь...). Я удивлялась, иногда просыпаясь и выныривая на поверхность, что все еще не подохла. Вот бы продумать сюжет: подрастает бездомный, сиротливый ребенок, которому все, что он хочет, дается само. Была бы красивая сказка.

Звезда опавшая моя судорожно мерцала и тлела. Пройдя огонь-воду и столько погасших соблазнов, я могла теоретически рассуждать о заморском сексе, но, что поразительно, так и не умела целоваться. Проведя всю страну в заточении, заодно я лишилась соцнавыков, стала полностью тепличной-зависимой, не заметив и этого из-за естественного аскетизма. Как домохозяйка преуспевала во всем, как сиделке мне не было равных.

Вседозволенность шла стороной. Мои сверстники расходились по девочкам – напоследок и с придыханием, повторяю: восторженно и задыхаясь. А я, покрасневшись, убегала от посещавших по делу навязчивых сырых мальчишек и воинственных стариков. Такой вот удел: не у дел. Я, смутно еще, поняла, что не судят по форме, а доверие первому впечатлению – не отражение в зеркале.

Когда-то в пустыне меня обхаживал друг – положительный, в шляпе и галстук... Он был *ватиком*, бизнесменом, – очень яркий, статный красавец, тормозивший всех нас неприступностью. Кому и как могло прийти в голову, что он классический мазохист?.. Партнерши были невзрачными, такими серыми мышками. Одна заходила, мочась ему в рот, остальные измывались над ним примитивней. В этой тусклой компании просияла и верховодила его дама сердца, наша француженка. Крохотная и тощая, небось, тоже, как я, неудачница. Она жила с дочкой-подростком, такой степенный, подспудный дуэт мазохизма-садизма. Только мама все это знала, как и моя, – а ребенок чувствовал, что ему прощают что-то совсем не тоё, волновался и растлевался

в ускоренном темпе. Как-то девочка ночью зимой в одних плавках сбежала из дому, не выдержав натиска мамы... И еще отомстит своим отпрыском. Я, правда, не мстила, я мучилась.

Но что делать, у наших любимых волосы занесены снегом. Буквально. Разве с покойником жить приличней, чем отвлечься и выбрать негра, пригласить полдюжины резвых тайцев? Права была Валечка? Опустив глаза, ты поймешь, почему я их не поднимаю. Ничего не испробовав. Но фантазия рамок не знает. А пишущему не прожить без романтики и темперамента. Влюбилась я виртуально, в никогда не виденного мной эссеиста с другого материка, а можно сказать, что в Читателя. Написала роман, а стихи в самом конце посвятила кому-то ему http://www.russianlife.nl/souchastije_3.htm . Нереальное всегда держит сильнее настоящего. И страдала я по Читателю года четыре безумно. Любопытно, что виртуальность привносит сонные радости, но вот боль ее – подлинна, энергична и вонзает иголки под ногти по самое не могу.

Детский плакатик над секретером сменился известным «Не верь. Не бойся. Не проси». Но я-то надеялась встретить... Тяжело оканчивать жизнь и подводить итог без друзей, родных и любимого. Зато сколько теснится врагов! Верное правило – не вспоминать сына, дом, близких, иначе раздваивается сознание; а качаться все время над костром из трещащего камыша, уже не пытаюсь увиливать от огненных ласк, – повторю, что я не мазохистка.

Но все дальше меня заносило во вражеский лагерь. Как писал Солоухин, «в каждом демократе сидит, притаившись, диктатор, насильник и незаконник». И мне опять такой встретился. Приручив виртуально, меня легко было взять голый рукой, зная верный подход. В постель уложить было б – трудно, но душу вздернуть – элементарно. Человек, наубивавшийся всласть – не за народ, не себя, а расстреливавший врагов, подменяя их и друзьями, – в моем случае больше чем деспот. Противостоять ему интересно, он достойный соперник. Так прошли мы рядышком годы, иногда только сладко целуясь под чеченским прищуром охраны. После советско-израильских постельных видеокамер, эта лондонская преступная сгруппированность меня как-то не привлекла, и надеюсь, что это взаимно. Так как не мне там лежалось, а он сам добровольно и чистосердечно подлез под национального тирана. Пусть это зачтется в потомках.

Перестала меня интересовать и та диспозиция, когда американцы будут стравливать Китай с исламом – против урановой родины. И что классической уютной Европы я уже не застану, а за шоколадной экзотикой проще ехать к абorigенам, где мир начнется с начала. Не зря ж они первыми делали трепанацию черепа, моего – однозначно.

Основные наши читатели – критики и гэбня. Но недаром же я аналитик, и мне попросту скучно отслеживать разных путинных, наперед видя и зная, как натягивается их кожа на лице и на члене и наступает агония. Вот и мой английский избранник продал сам себя ради тленной славы и денег, но когда мужчина сценичен и грязен, как политика, он теряет достойную, когда-то равную женщину.

Поездки по зарубежам – свет луча в моем царстве. Трудно быть интересной, когда остается в итоге от жизни пять слов, а после такого отшельничества разучиваешься говорить на родном языке и по-птички. Роман с самой собой утомителен: ведь он обязательно есть, всё в себе сочетающий мудрый, тонкий мужчина, свободный и сильный. Но вот и я встретила – неужели же? – кажется, счастье.

Он был совсем необычным, или я так отвыкла от тепла и заботы. Обволакивал серебряным смехом, сильный седой воин, прошедший десяток лет лагерей. Интеллигент – и в то же время бандит с отпечатком решетки от камеры пыток. Его мудрые глаза лучились и тут же сужались, и тогда я видела, как он убивал, защищая, – и как он погубит меня. Мы хотели ребенка, и чтобы родился он с Верочкой, а я стану бабушкой-мамой. На меня ведь все так же оглядываются на улице, а теперь я совсем независима: собираясь замуж за Замбека (сплошь за: за надежной спиной родного мужчины), я сказала Йосу всю правду.

В очередной раз мы провели вместе месяц с восторженно твердящим о чувствах Замбеком, и вдруг он вернул меня мужу: жить нам было негде, скитались то по друзьям, то тайком в центре беженцев. Я просила найти мне пристанище: Йос психически болен, он и раньше предупреждал, что ему куда проще отсидеть срок за убийство, чем потерять состояние и лишиться меня, моей помощи. А полиция охраняет нас от ФСБ – не от мужа.

Стремительно я оказалась на улице. Как одиннадцать лет назад, но теперь уж одна: дети выросли и поразъехались. На ночь глядя я, давно разучившаяся в этой стране переходить дорогу и никогда не имевшая, за полной ненужностью и неразлучностью с Йосом, своего кошелька и кредитки, попала в полицию. Там дают кофе, там топят. Не в воде... – радиатор. Меня отправили на спецтакси (как когда-то Игоря-второго) в кризисный центр, не имеющий официального адреса. Полночи снимали показания: здесь скрывались избитые жены. На телефоне висела табличка: «Позвонив, не называй свое имя».

Я себе приказала с порога: когда приберу этот пустой пятизвездочный, с раскатистым эхом слёз зал с четырьмя кроватями (если б вдруг со мной были дети), то займу себя принудительным чтением полицейских брошюр, а когда все до корки прочту, то начну от руки переписывать: пусть будет урок нидерландского. Нужно все сделать, чтоб не полезть тут на стенки, дожить до утра, осознать себя не одинокой. Как в постели, для сопричастности. А то ведь сдвинется крыша.

Не зря я, хотя мне было пока что еще сорок пять, которых никто бы не дал, так боялась влюбиться на старости лет. Берегла себя: хватит боли. Это мужчина разумно ищет любимую «по частям»: одна ему станет женой, другая – возлюбленной, третья – его секретуткой. Не часто же встретишь – всех вместе. Но ведь мы-то вошли в полосу жизни, когда каждую неделю хоронишь по другу. Между нами – сплошные покойники, так же дышат и переговариваются... Спасибо, что поучают.

Замбек позвонил на мобильник. Он сходил с ума от волнения.

- Что случилось, родная, как ты туда попала?!

Надо же, правда любит, эту боль нельзя симитировать. Письма такие, десятками в день, писали разве что Саша и тот человек с чемоданом, о котором мне есть что сказать, но не хочу его вмешивать, и еще карнеги-холльский пианист, бисексуал Избицер... Но любовь всегда действевна, а здесь... Обожая, в реале заботились, а тут – слова. Слова... Как тот камень в ущелье.

Я поселилась в тюрьме: такие же правила, только нас охраняли от мира, как Россию – от Запада. В коридоре бегали дети, по ночам кричали их матери – кто бредил, кто выяснял телефонные отношения, и все были настороженно-затравлены. Я, успешная бизнес-вумен, недавняя жена миллионера, которой ничего было не нужно, но зато всегда предлагалось выбрать по каталогу хоть вертолет и заказать его или прочую безделушку, так что удивить меня в материальном мире нельзя, – привыкала к так знакомым с пионерлагеря сбору на линейке, распорядку дня и расписанию по мытью помещений. Пахло хлоркой, лекарством и горем.

Не одна ж я такая. «В начале Голландии», подыскивая женихам претенденток, перебирала российских подружек и думала, что все они в массе честные, в моем кругу других как-то не было, – внимательные и верные, менялись они с государством, как и мой любимый отец – когда-то веселый и щедрый. Сюзи перебесилась и стала женой – лучше некуда, Валя – мастерица на все руки, а была ж еще и синеокой блондинкой-красавицей, каких поискать... Даже кто и гулял, остепенились и куда уж достойней мужей. Один мой мудрый, талантливый товарищ-прозаик Армалинский сказал:

- Читая, я вспоминал, что никогда за девочками не ухаживал, не писал им писем, не дарил, а пытался затащить их в темный угол. До сих пор процедура ухаживания вызывает у меня омерзение.

- А что главное в тексте?

- Можно всё рассматривать как справедливое обвинение мужчинам, среди которых не нашлось достаточно сильного, чтобы сломать дурь девчонки и посадить её на иглу частых оргазмов.

Профессиональный совет там и тут. Строго и четко. А пока что я понимала, что в тюрьме оставаться нельзя, – попробую жить на панели. Параллельно случилось другое, не совсем по нашей тематике, – но, как если бы у меня родился ребенок, а Замбек бы забрал его. И меня просто вычеркнул. Снял в свидетельстве о рождении имя какой-то там матери. Вот я туда и пошла, зимним солнцем палима.

Виновным себя он не чувствовал. Ну, подумаешь – сдал меня мужу. Лишил «младенца». В самом деле, что все это по сравнению с вечностью и его личным трагическим прошлым? Он же считает, что любит!

Рано утром, еще в темноте, я вырвалась из приюта (для меня специально заранее отключили сигнализацию), шла по чужому витиеватому городу небесной красоты и трудового величия. Прямо наш Питер, но мне и деваться-то некуда.

Вот кавалер: он весь изгибался, как пластмассовые гардинки из моего, теперь Йосова салона. Раньше в этот момент знакомства я в кармане сжимала кастет. Но здесь наркоманы, прирежут. И полиция стреляет без предупреж-

дения, их девиз – «толерантности ноль». А я стала мягкой, спокойной: одно слово – женщина. Я жду трамвая, мне – отметить в отделении в девять ноль-ноль... А можно придумать рассказ: девочка в поезде пристально расспрашивает пассажирку, ведь это она сама в прошлом... Прощайте – и здравствуйте.

Так сеточка осеннего листка просвечивает, как строчка, и слегка укачивает, сблизив старость-детство. Но мне еще далеко: опять не моя остановка. Днем я скитаюсь по улицам, согреваясь в церкви и на магазинных железных скамейках, но там таких видят насквозь. Ночью мне есть где пристроиться на кровати возле помойки, но мэрия уже вытаскивает на работу: поставят меня на конвейер, просто так ничего тут не дарят. Страшно сказать, но посудомойство Марины Ивановны – перспектива высокая: я стихов совсем не пишу, но меня в оранжевой униформе вот-вот отправят подбирать бумажки на улице, цепляя палкой с гвоздем. Обычно туда идут дауны. И я к ним теперь привыкаю: столько лет я с ними работала, глядя извне.

В очередной раз, Саша, я должна тебя оживить, потому что другого такого не будет. Словно я тебя убивала – и пришла замолить. Ты уже испытал все то, что нам предстоит, предстает, весь этот ужас границы. Научи меня и направь. Йос заранее перевел весь наш капитал за рубеж, записав ребенком в семье, семьдесят тысяч евро не деланных мной долгов. У нас все было поровну, то есть там стоит моя подпись. Адвокат от меня отказался.

Я думала – как теперь Йос? Никогда в жизни не мыл он тарелку: говорит, что когда родился, для этого уже были машины... Из-за лишнего веса он никогда не натягивал сам носки, а ремень я ему застегивала посреди площади на глазах изумленных прохожих: свой пуп он не видит. Моя тяга к чудовищам – чем хуже, тем лучше, Сюзанна. Йос был младшим ребенком в семье, больным плохишом. Мы все к нему так относились. Помоги ему, Боже.

Я бродила одна: время снова стало резиновым. Свободная, счастливая тишиной, одиночеством, – только не думать о быте. За два года до этого я купила швейную машинку, смешно сказать, из солидарности с Ходорковским. Он шил в тюрьме рукавицы, мне такие когда-то дарили заключенные после концертов от общества «Знание», выступала я много... Никогда прежде не держав иголку в руке, я стала золотошвейкой, теперь к стати и рыночной. Можно открыть свое дело.

Я с Замбеком рассталась, как с Йосом. И взялась выживать.

Глава 2.

У нас был общий друг, тоже очень известный чеченец. Ухаживал он за мной дон-жуански и мастерски, но самое главное, что разглядел мою суть. Всем я была безразлична, а ему что лукавить – у него в любом городе жены. Безотказное производство. Но он себя убедил, что такую ищет всю жизнь, и это не напоминало спортивный интерес. Человек он без возраста, но уж точно не молод. Со следами былой красоты и еще тлевшего пыла, он умен и значителен, как любой полководец, а у нерядовых чеченцев всегда за

плечами История. Вот на эти самые плечи я бы могла опереться, но, построив насчет меня самые твердые планы, мой знакомец одновременно лукавил и с моей ученицей. Она ему искренне верила, и хотя мне было понятно, что эту женщину захомутала гэбня и никуда ей, добровольной, не вырваться, поскольку карьера стремительна, – я хотела ее защитить. А заодно и всех жен, обманываемых параллельно.

Так что этот бумажный роман возник потому, что сначала самолетный мой собеседник прислал мне пару рассказов, и у нас пошел диалог, а затем вот этот, думаю, горский еврей – назовем его первым попавшимся чеченским именем Мусик – разочаровался во мне по моей же собственной прихоти и так бы вряд ли когда-то узнал, насколько он был близок к истине. С Мусиком мы всегда вели жесткий спор:

- В твоём романе многовато кричащего самопиара.

- А зачем мне реклама? Пиар – при таком откровении? Когда всю жизнь никому не трепалась, молчала, сжав зубы и притворяясь паинькой?

- Волею обстоятельств ты знаешь больше информации о тайнах чеченских войн и политической жизни, чем ФСБ и ГРУ, вместе взятые. Они информацию покупают или выбивают. В том и в другом случае их инфа приукрашена или вообще не соответствует действительности. К тебе она текла естественно и с первых рук.

- Мне неинтересна политика. Я это все проходила. И если Чечня, так уж Грузия.

Кстати, мэрия сжалилась, и мне быстро дали жилье и списали долги. Мусик стремился не просто мной овладеть, – невелика хитрость или заслуга сломить безоружную женщину, пережившую в год два предательства и едва вставшую на ноги. Он рвался жениться, плодиться, реабилитироваться и урвать себе юность. Моей ученице он лгал, а мне – не было смысла. Ему начхать на мои обстоятельства, так как он знал себе цену, от таких барышни не убегают, но мне это было неведомо.

Вообще нет собеседников. Строчишь письмо самой себе, чтобы разобрататься, расставить ошибки: я зло ищу только в себе. Дойдя до возраста, когда каждого мужчину легко видишь и знаешь сквозь одежду раздетым, я не озабочена сексом: у меня стойкая привычка к воздержанию, а ненужную энергию я перевожу всю жизнь в творческую, собраниями сочинений. Это мог быть роман кройки и шитья (флирт с вибратором в виде «тойоты»), вкусной и здоровой пищи по Молоховец, погибшей в блокаду от голода. Путеводитель по эмиграциям, пособие по бизнес-тренингу, очередная психология творчества. Но я выбрала ближе к телу.

Пусть будет бульварный роман, раз другие теперь не читают. Остальное пишу я для литературы, а уже даже не для того одного неперменного очкарика в будущем, вездливого библиотекаря, на которого уповала. Я уже никого не увижу. Но пишу текст как бы навыворот: смотрю на него с той, другой стороны, потому что рукопись одновременно читают и незнакомые, и когда-то родные мне люди. Вот Игорь-первый, женатый удачно и рано, лицедей-журналист и киношник... Игорь-второй, подходящий в наш сквер на

свидание со своим детством. Все они здесь, кто живой. А кто умер – тем более.

Может быть, это реквием мне. Через строку, по контрасту. Снег падает там, где между датами прочерк, именно торжественно, – и в карельском лесу, в тишине, прерываемой уханьем сов, а летом – заблудшей кукушкой, июльский снег бесшумен и легок. Это мы неподвижны, а у него свое время.

Я не писала о сексе. Это чужая епархия, я о нем мало что знаю. Но мне интересно, как живому существу удастся, почти что как Дуське, миновать его вообще. И как сопряжен он с талантом, а ведь творчество насквозь гормонально. И куда идет эта неистраченная сила нежности; можно спросить подругому: куда струится энергия, вложенная в произведение или взлетающая бабочкой в момент остановки души?..

Замбек о романе сказал:

- Все будет честно и правильно, если сможешь разобраться в самой себе без самообмана. Коли для себя истину откроешь, уже будет ошеломляющая победа.

На том и стоим. Я прислушалась. Мусик приехал, а как женщина мстит за иллюзии? – Как я, дурой шестнадцатилетней, провалявшись в больнице вместо экзаменов и впечатлившись ночными рыданиями своих сопалатниц, замороженных сексологом Парыгиным. Влюбила в себя, а когда обнадежился – выгнала. Материал для его диссертаций.

Я думаю, что Мусик, искореженный войной и временем, по натуре предатель, по крайней мере по отношению ко мне. Но я ему благодарна, и со мной он был искренен. Две роскошные, как он выразился, ночи изумили меня чисто физиологически: блестящие спортивные данные вдруг впервые объяснили мне смысл команды «расслабиться». А я всю жизнь противостояла. Мне ж никто не сказал, что можно стремиться навстречу, а не жить в боевой готовности врезаться по морде, а повезет – между ног. Перефразируя, боль была такой торжественной и всепоглощающей, что у него случился детский оргазм...

Мусик печально сказал:

- Не спускай никого больше с лестницы. И меня тоже. Тогда никто не поверит.

- Но ведь спустила же, вежливо. Не обманывай глупых девиц. Наше время ушло в никуда. Если б мы встретились раньше – то ты, Мусик, я думаю, прав: могло быть серьезное чувство.

Что там целоваться... Я зашла к докторам и узнала, что не умею... дышать. Ну не объяснять же, что когда в голове звучит постоянная симфония – стихи мои полифоничны, – то ритм перемежается, сбивчив. Спасибо, что подсказали. Только учиться мне поздно.

Я смотрю на блестящих сорок, они играют, перелетая с черной, белой овцы на овцу, предпочитая прогретую солнышком – темную спинку. Прижимают плотнее лето к лицу. За бетонной стеной истошно кричит двенадцатилетняя девочка, так орать можно только от боли. Ее отец, секс-массажист, суринамец, мне объясняет, что утром он дочку... причесывает. Добрый черный мужик, улыбается. Но я не сплю ночью и слышу, как он

насилует девочку. У меня нет прямых доказательств, и полиции это известно. Этажом ниже от кошмаров заходится чья-то жена, но муж знает на это управу.

Замбек хочет приехать. Йос приходит поесть каждый день: а кто ж ему сварит кашу? Мусик был бы тут Сивкой-Буркой, но после прозы попытается мне отомстить. Моя мама через пять минут приземлится в амстердамском аэропорту, и мы даже можем увидеться. Я по-прежнему, по нарастающей, пользуюсь шумным успехом. Дочка устала на это безысходно смотреть и подала мои данные во все бюро знакомств сразу. Держа киборд как гитару и разглаживая крахмальные простыни, я все жду наступления преимуществ ослабленной памяти: когда ж наконец забываешь, кто умер, а кто еще жив. И мужчина после климакса будет мне мил прозрачною тихой улыбкой и тем, что жизнь... была сплошной ошибкой на берегу встревоженных и мне не известных могил. Лучшее, что и обо мне будет написано – некрологи, причем с большим опозданием. Тогда мне окажется ничего не нужно, а свет-зеркальце подошьет к делу и вас, как сделал женский роман. Воздержусь-ка от выводов.

Греки и римляне жили, не ведая, что впереди – христианство. Но пусть Верочке что-то расскажут, есть ведь накопленный опыт. Он для будущих братьев-сестер. Вслушиваясь в прилив и отлив океана и крови, я стараюсь понять, что приходит быстрее – замысел композитора, сама музыка или твоя мысль о ней. Так из-под земли, сквозь траву наконец будет видно, куда летят облака.

СОДЕРЖАНИЕ

Стихи 2004-2010	3
Мафия ФСБ. ЛВ интервьюирует В.Мальсагова	134
Возьми свою половинку. Роман.....	349